

Владимир Владимирович Набоков
Возвращение Чорба [сборник рассказов]

*«Владимир Набоков. Возвращение Чорба.»:
Издательство "ФОЛЛИО"; Харьков; 2001; ISBN 5-17-006369-5*

Аннотация

Рассказы Набокова прославлены в принципе значительно меньше, чем его романы. Однако "малые" произведения этого писателя занимают в его творчестве совершенно особое, самостоятельное место, и каждый из них, по справедливому замечанию критиков, стилистически "выполняет собственные и несколько иные задачи".

Содержание:

- *Возвращение Чорба*
- *Порт*
- *Звонок*
- *Письмо в Россию*
- *Сказка*
- *Рождество*
- *Гроза*
- *Бахман*
- *Путеводитель по Берлину*
- *Подлец*
- *Пассажир*
- *Катастрофа*
- *Благость*
- *Картофельный эльф*
- *Ужас*

Владимир Набоков Возвращение Чорба

1. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА

Супруги Келлер вышли из театра поздно. В этом спокойном германском городе, где воздух был чуть матовый, и на реке вот уже восьмой век поперечная зыбь слегка тушевала отраженный собор, Вагнера давали с прохладцей, со вкусом, музыкой накармливали до отвалу. Из театра Келлер повез жену в нарядный кабачок, который славился своим белым вином, и только во втором часу ночи автомобиль, легкомысленно освещенный изнутри, примчал их по мертвым улицам к железной калитке степенного особняка. Келлер, старый коренастый немец, очень похожий на президента Крюгера, первый сошел на панель, где при сером свете фонаря шевелились петлистые тени листьев. Свет на мгновение выхватил крахмальную грудь Келлера и капли стекляруса на платье его жены, которая, выпростав полную ногу, в свой черед лезла из автомобиля. В прихожей их встретила горничная и, с разбегу, испуганным шепотом сообщила им о посещении Чорба. Пухлое, еще свежее лицо Варвары Климовны Келлер задрожало и покраснело от волнения:

– Он вам сказал, что она больна?

Горничная зашептала еще шибче. Келлер толстой ладонью погладил себя по седому бобрику, и его большое, несколько обезьянье лицо, с длинным надгубьем и с глубокими морщинами, по-старчески насупилось.

– Не могу же я ждать до завтра. Мы сию минуту поедem туда, – трясая головой, забормотала Варвара Климовна и грузно покружилась на месте, ловя конец вуали, которой был покрыт ее русский парик, – Господи Боже мой... Недаром около месяца не было писем.

Келлер толчком кулака расправил складной цилиндр и проговорил своим точным, несколько гортанным русским языком:

– Этот человек не в своем уме. Как он смеет, если она больна, завозить ее опять в эту гнусную гостиницу...

Но, конечно, они ошибались, думая, что дочь их больна. Чорб так сказал горничной просто потому, что это было легче всего выговорить. На самом деле он вернулся из-за границы один и только теперь сообразил, что ведь придется все-таки объяснить, как жена его погибла, и почему он ничего не писал. Все это было очень трудно. Как объяснить, что он желал один обладать своим горем, ничем посторонним не засоряя его и не разделяя его ни с кем? Ему сдавалось, что ее смерть – редчайший, почти неслыханный случай, что ничего не может быть чище вот такой именно смерти, – от удара электрической струи, которая, перелитая в стекла, дает самый чистый и яркий свет.

И с тех пор, как в весенний день на белом шоссе в десяти верстах от Ниццы она, смеясь, тронула живой провод бурей поваленного столба, – весь мир для Чорба сразу отшумел, отошел, – и даже мертвое тело ее, которое он нес на руках до ближайшей деревни, уже казалось ему чем-то чужим и ненужным. В Ницце, где ее должны были хоронить, неприятный чахоточный пастор напрасно добивался от него подробностей, – он только вяло улыбался, целый день сидел на гальке пляжа, пересыпая из ладони в ладонь цветные камушки, – и внезапно, не дождаввшись похорон, поехал обратно в Германию через все те места, где в течение свадебного путешествия они побывали вдвоем. В Швейцарии, где они провели зиму и где доцветали теперь яблони, он ничего не узнал, кроме гостиниц; зато в Шварцвальде, по которому они прошли еще осенью, холодноватая весна не мешала воспоминанию. И так же, как на южном пляже, он старался найти тот единственный, круглый, черный, с правильным белым пояском, камушек, который она показывала ему накануне последней прогулки, – точно так же он отыскивал по пути все то, что отметила она возгласом: особенный очерк скалы, домишко, крытый серебристо-серыми чешуйками, черную ель и мостик над белым потоком, и то, что было, пожалуй, роковым прообразом, – лучевой размах паутины в телеграфных проволоках, унизанных бисером тумана. Она сопровождала его: быстро ступали ее высокие сапожки, – и все двигались, двигались руки, то срывая листик с куста, то мимоходом поглаживая скалистую стену, – легкие, смеющиеся руки, которые не знали покоя. Он

видел ее маленькое лицо, сплошь в темных веснушках, и глаза, широкие, бледновато-зеленые, цвета стеклянных осколков, выглаженных волнами. Ему казалось, что если он соберет все мелочи, которые они вместе заметили, если он воссоздаст это близкое прошлое, – ее образ станет бессмертным и ему заменит ее навсегда. Вот только ночи были невыносимы... По ночам ее мнимое присутствие становилось вдруг страшным, – он почти не спал во время этого трехнедельного путешествия и теперь приехал совсем хмельной от усталости в тихий город, где встретился и венчался с ней, на вокзал, откуда прошлой осенью они вместе уехали.

Было около восьми часов вечера. За домами башня собора отчетливо чернела на червонной полосе зари. На площади перед вокзалом стояли гуськом все те же дряхлые извозчики. Покрикивал тот же газетчик глухим вечерним голосом. Тот же черный пудель с равнодушными глазами поднимал тонкую лапу у рекламной тумбы прямо на красные буквы афиши: Парсифаль.

У Чорба был ручной чемодан и большой желтый сундук. Он покатил через город на извозчике. Кучер лениво пошлепывал вожжами, придерживая одной рукой сундук. Чорб помнил, что та, которую он никогда не называл по имени, любила ездить на извозчиках.

В переулке, за углом городской оперы, была старая трехэтажная, дурного пошиба гостиница, в которой сдавались комнаты и на неделю, и на час, – черный, в географических облупах дом, с ободранной кисеей за мутными стеклами и с неприметной входной дверью, никогда не запиравшейся на ключ. Бледный, развязный лакей повел Чорба по извилистому коридору, отдающему сыростью и капустой, и когда Чорб вошел за ним в номер, то сразу узнал, – по розовой купальнице в золоченой раме над кроватью, – что это та самая комната, где он провел с женой первую совместную ночь. Ей все казалось забавным тогда, – и толстяк без пиджака, которого рвало в коридоре, и то, что они выбрали почему-то такую дрянную гостиницу, и то, что в умывальной чашке был чудесный светлый волос, но पुще всего ее сместило то, как они скрылись из дому. Тотчас же по приезде из церкви домой, она побежала к себе переодеться, – пока внизу собирались гости к ужину. Келлер в добротном фраке, с рыхлой улыбкой на обезьяньем лице, похлопывал по плечу то того, то другого, сам подавал шнапсы, – а близких друзей Варвара Климовна водила попарно осматривать спальню, предназначенную новобрачным, – с умилением, пришептывая, указывала на исполинскую перину, на апельсиновые цветы, на две пары новеньких ночных туфель, – большие клетчатые и маленькие красные с помпончиками, – поставленных рядышком на коврике, по которому готическим шрифтом шла надпись: Мы вместе до гроба. Затем все двинулись к столам, – а Чорб с женой, мгновенно сговорившись, бежали с черного хода и только на следующее утро, за полчаса до отхода экспресса, явились в дом за вещами. Варвара Климовна всю ночь прорыдала; муж ее, для которого Чорб – нищий эмигрант и литератор, – был всегда человек подозрительный, проклинал выбор дочери, расход на вино, полицию, которая ничего не могла сделать... И потом, когда молодые уехали, старик ходил смотреть на гостиницу в переулке за оперой, – и с тех пор этот черный, подслеповатый дом стал для него чем-то отвратительным и влекущим, как воспоминание о преступлении.

Пока вносили сундук, Чорб неподвижно глядел на розовую олеографию. Когда дверь закрылась, он нагнулся над сундуком, отпер его. В углу, под отвернутым лоскутом обоей бумаги, шуркнула и покатила мышь. Он повернулся на каблуке с быстрым содроганием. Голая лампочка, висевшая на шнурке с потолка, едва-едва качалась. Тень шнура скользила поперек зеленой кушетки, ломаясь по сгибу. На этой самой кушетке он тогда спал. Жена дышала так по-детски ровно. В ту ночь он только поцеловал ее в душку, – больше ничего.

Мышь завозилась опять. Есть такие маленькие звуки, что страшнее канонады. Чорб оставил сундук, прошелся раза два по комнате. Ночной мотылек звонко ударился о лампочку. Он рванул дверь и вышел.

Спускаясь по лестнице, он чувствовал, как тяжело устал, а когда оказался в переулке, голова у него закружилась от мутной синевы майской ночи. Свернув на бульвар, он пошел быстрее. Площадь. Каменный всадник. Черные облака городского сада. Теперь цвели каштаны, а тогда стояла осень. Они долго вдвоем гуляли накануне свадьбы. Как хорош был земляной, влажный, слегка фиалковый запах вялых листьев, покрывавших панель... Небо в те пасмурные, прелестные дни бывало тускловато-белым, и, посреди черной мостовой, вет-

ки отражались в небольшой луже, похожей на плохо промытую фотографию. Между серых особняков неподвижно и мягко желтели деревья, а перед ее домом увядал тополь, и листья его были цвета прозрачного винограда. За решеткой мелькали стволы берез, – иной в плотном чехле плюща, – и он рассказывал, что в России не бывает плюща на березах, а она говорила, что рыжеватый оттенок их мелкой листвы напоминает пятна нежной ржавчины на выглаженном белье. Вдоль панели стояли дубы и каштаны; по черной коре шла бархатная пазелень; то и дело срывался лист, летел наискось через улицу, как лоскуток оберточной бумаги. Она старалась поймать его на лету при помощи лопатки, которую нашла близ груды розовых кирпичей там, где чинили улицу. Поодаль, из трубы рабочего фургона струился сизый дымок, наклонялся, таял между веток, – и отдохавший каменщик смотрел, подбоченясь, на легкую, как блеклый лист, барышню, плясавшую с лопаткой в поднятой руке. Она прыгала и смеялась. Чорб, слегка горбясь, шагал за нею, – и ему казалось, что вот так, как пахнут вялые листья, пахнет само счастье.

Теперь он едва узнавал эту улицу, загроможденную ночью пышностью каштанов. Впереди горел фонарь, над стеклом склонялась ветка, и несколько листьев, на конце пропитанных светом, были совсем прозрачные. Чорб подошел. Тень калитки ломаным решетом хлынула к нему с панели, опутала ему ноги. За оградой, за туманной полосой гравия, вырос темный фасад знакомого дома. Одно окно было открыто и освещено. В этом янтарном провале горничная широким движением стелила яркую простыню. Чорб громко и коротко позвал ее. Одной рукой он держался за калитку, и росистое ощущение железа под ладонью было самым острым из всех воспоминаний.

Горничная уже выбегала к нему. Как она рассказывала Варваре Климовне, ее раньше всего поразило то, что Чорб оставался молча стоять на панели, хотя она сразу отперла калитку. “Он был без шапки, – рассказывала она, – и свет от фонаря падал ему на лоб, и лоб был мокрый от пота, и волосы ко лбу пристали. Я сказала, что господа в театре, и спросила его, почему он один. У него глаза очень страшно блестели, и он как будто давно не брился. Он тихо сказал: “Передайте, что она больна”. Я спросила: “Где же вы остановились?” Он сказал: “Все там же, – а потом: – Это все равно. Я завтра утром зайду”. Я предложила ему подождать, – но он ничего не ответил, повернулся и ушел”.

Так Чорб возвращался к самым истокам своих воспоминаний. Это был мучительный и сладкий искус, который теперь подходил к концу. Оставалось провести всего одну ночь в той первой комнате их брака, а уже завтра – искус будет пройден, и образ ее станет совершенным.

И пока он шел обратно к гостинице по бульвару, где на всех скамьях, в синей темноте, сидели туманные фигуры, он вдруг понял, что, несмотря на усталость, он не заснет один в той комнате с голой лампочкой и шепотливыми углами. Он вышел на площадь и побрел по главной улице, – и уже знал, что нужно сделать. Но искал он долго: город был тихий, целомудренный, – и тот потайной переулок, где продавалась любовь, был Чорбу неизвестен. И только после часу беспомощного блуждания, от которого у него горели пятки и шумело в ушах, он случайно в тот переулок попал и сразу подошел к женщине, окликнувшей его.

– Ночь, – сказал Чорб сквозь зубы.

Женщина склонила набок голову, покачала сумкой и ответила: “Двадцать пять”.

Он кивнул. Только гораздо позже, случайно взглянув на нее, Чорб равнодушно заметил, что она недурна собой, хотя очень потасканная, и что волосы у нее светлые, стриженные.

Она не раз уже, с другими мужчинами, бывала в гостинице, где стоял Чорб, – и бледный, востроносый лакей, сбежавший по лестнице, дружелюбно ей подмигнул. Пока они шли по коридору, было слышно, как за одной из дверей, равномерно и тяжело, скрипела кровать, словно кто-то пилил бревно. И через несколько дверей, из другого номера опять донесся такой же ноющий звук, – и, проходя мимо, женщина с холодной игривостью оглянулась на Чорба.

Он молча ввел ее в свою комнату и сразу, с глубоким предвкушением сна, стал сдвигать воротник с запонки. Женщина подошла вплотную к нему, спросила с улыбкой:

– А как насчет маленького подарка?

Чорб сонно и рассеянно посмотрел на нее, с трудом сообразил, о чем она говорит.

Получив деньги, она аккуратно сложила их в сумку, и, легонько вздохнув, опять по-

дошла, тряхнула волосами:

– Мне раздеваться?

– Да, ложись, – пробормотал Чорб, – утром еще дам.

Она стала поспешно расстегивать пуговицы кофточки и все время искоса поглядывала на Чорба, слегка удивляясь его рассеянной угрюмости. Быстро и неряшливо раздевшись, он лег в постель, повернулся к стене.

“Этот, вероятно, с фокусом”, – смутно подумала женщина. Медленно она сложила свою сорочку, положила на стул. Чорб уже крепко спал.

Женщина побродила по комнате, и, заметив, что крышка сундука, стоявшего у окна, чуть приоткрыта, опустилась на корточки, заглянула под край. Мигая и осторожно вытягивая голую руку, она нащупала женское платье, чулок, какие-то шелковые лоскуточки, – кое-как сложенные и пахнувшие так хорошо, что ей стало грустно.

Она разогнулась, зевая, почесала бедро, и как была, – голая, в одних чулках, подошла к окну, отодвинула штору. За шторой рама была отворена, и в бархатной бездне улицы виден был угол оперы, черное плечо каменного Орфея, выделявшееся на синеве ночи, и ряд огоньков по туманному фасаду, наискось уходившему в сумрак. Там, далеко, на полукруглых слоях освещенных ступеней кишели, вытекая из яркой проемы дверей, мелкие, темные силуэты, и к ступеням скользили, играя фонарями и блестя гладкими крышами, автомобили. И только когда кончился разъезд, и огоньки погасли, женщина опустила штору и, выключив свет, легла в постель, подле Чорба. Засыпая, она думала о том, что уже раза два была именно в этой комнате, запомнила розовую картину на стене.

Спала она не больше часу: ее разбудил страшный, истошный вопль. Это крикнул Чорб. Он проснулся среди ночи, повернулся на бок и увидел жену свою, лежавшую с ним рядом. Он крикнул ужасно, всем животом. Белая женская тень соскочила с постели. Когда она, вся дрожа, зажгла свет, – Чорб сидел в спутанных простынях, спиной к стене, и сквозь растопыренные пальцы сумасшедшим блеском горел один глаз. Потом он медленно открыл лицо, медленно узнал женщину. Она, испуганно бормоча, торопливо надевала сорочку.

И Чорб облегченно вздохнул и понял, что искуc кончен. Он перебрался на кушетку и, сжимая руками волосатую голень, с равнодушной улыбкой смотрел на женщину. Эта улыбка еще больше испугала ее, и, отвернувшись, она быстро застегнула последний крючок, зашнуровала ботинки, стала надевать шляпу.

И в это мгновение в коридоре зазвучали голоса и шаги.

– Но он вместе с дамой... – уныло повторял голос лакея.

И гортанный раздраженный голос настаивал:

– Я же говорю вам, что это – моя дочь.

Шаги остановились за дверью. Затем раздался стук. Тогда женщина схватила со стола сумку и решительно открыла дверь. Перед ней стоял изумленный старый господин в матовом цилиндре, с жемчужиной на белой груди рубашки, из-за его плеча выглядывала полная, заплаканная дама в вуали на волосах, а сзади маленький, бледный лакей поднимался на цыпочки, тараща глаза и делая пригласительные движения рукой. Женщина поняла его знак и проскочила в коридор, мимо старика, который все с тем же недоумением повернул к ней голову, – и затем вместе с дамой переступил порог. Дверь закрылась. Женщина и лакей остались стоять в коридоре, испуганно посмотрели друг на друга и, нагнувшись, прислушались. Но в комнате было молчание. Казалось невероятным, что там, за дверью, трое людей. Ни единый звук не доносился оттуда.

– Они молчат, – шепнул лакей и приложил палец к губам.

2. ПОРТ

В низкой парикмахерской пахло прелыми розами. Жарко и тяжело жужжали мухи. Солнце лужами топленого меда горело на полу, щипало блеском флаконы, сквозило сквозь долгую занавеску в дверях: занавеска – глиняные бусы да трубочки из бамбука, вперемежку нанизанные на частые шнуры – рассыпчато позвякивала и переливалась, когда кто-нибудь, входя, плечом ее откидывал. Перед собой, в тускловатом стекле, Никитин видел свое заго-

релое лицо, лепные пряди ярких волос, сверканье ножниц, стрекотавших над ухом, – и глаза его были внимательны и строги, как это всегда бывает, когда смотришься в зеркало. Накануне он приехал из Константинополя, где жить стало невтерпёж, в этот древний южно-французский порт; утром заходил в русское консульство, в бюро труда, бродил по городу, узкими улочками сползающему к морю, устал, разомлел и теперь зашел постричься, освежить голову. Пол вокруг стула был уже усыпан яркими мышками, – обрезками волос. Парикмахер набрал в ладонь жидкого мыла. Вкусный холодок прошел по макушке, пальцы крепко втирали густую пену, – а потом грянул ледяной душ, екнуло сердце, мохнатое полотенце заработало по лицу, по мокрым волосам.

Плечом пробив волнистый дождь занавески, Никитин вышел в покатый переулочек. Правая сторона была в тени, по левой в жарком сиянии дрожал вдоль панели узкий ручей, девочка, черноволосая, беззубая, в смуглых веснушках, ловила звонким ведром сверкавшую струю; и ручей, и солнце, и фиолетовая тень, – все текло, скользило вниз, к морю: еще шаг, и там, в глубине, между стен, выростал его плотный сапфировый блеск. По теневой стороне шли редкие прохожие. Попался навстречу негр в колониальной форме, – лицо, как мокрая галоша. На тротуаре стоял соломенный стул, с сидения мягко спрыгнула кошка. Медный провансальский голос затараторил где-то в окне. Стукнул зеленый ставень. На лотке, среди лиловых моллюсков, пахнувших морской травой, шероховатым золотом отливали лимоны.

Сойдя к морю, Никитин с волнением поглядел на его густую синеву, переходившую вдали в ослепительную серебристость, – на световую рябь, нежно игравшую по белому борту яхты, – и потом, пошатываясь от зноя, пошел разыскивать русский ресторанчик, адрес которого он заметил на стене в консульстве.

В ресторанчике, как и в парикмахерской, было жарко, грязновато. В глубине, на широкой стойке, сквозили закуски и фрукты в волнах сизой кисеи, прикрывавшей их. Никитин сел, расправил плечи: рубашка прилипла к спине. За соседним столиком сидели двое русских, видимо, матросы с французского судна, а поодаль одинокий старичок в золотых очках, чмокая и посасывая, лакал с ложки борщ. Хозяйка, вытирая полотенцем пухлые руки, материнским взглядом окинула вошедшего. Два лохматых щенка, лопоча лапками, валялись на полу; Никитин свистнул; старая облезлая сука с зеленой слизью в углах ласковых глаз положила морду к нему на колени.

Один из моряков обратился к нему, сдержанно и неторопливо:

– Отгоните. Блох напустит.

Никитин потрепал собаку по голове, поднял сияющие глаза.

– Этого, знаете, не боюсь... Константинополь... Бараки... Что вы думаете...

– Недавно прибыли? – спросил моряк. Голос – ровный. Сетка вместо рубашки. Весь прохладный, ловкий. Темные волосы отчетливо сзади подстрижены. Чистый лоб. Общий вид порядочности и спокойствия.

– Вчера вечером, – отвечал Никитин.

От борща, от черного огненного вина он еще больше вспотел. Хотелось смиренно сидеть, тихо беседовать. В проёму двери вливалось яркое солнце, трепет и блеск переулочного ручейка, – и поблескивали очки у русского старичка, сидевшего в углу, под газовым счетчиком.

– Работы ищете? – спросил второй матрос, пожилой, голубоглазый, с бледными, моржовыми усами, но тоже весь отчетливый, чистый, отшлифованный солнцем и соленым ветром.

Никитин улыбнулся:

– Еще бы... Вот был сегодня в бюро труда... Предлагают сажать телеграфные столбы, вить канаты, да вот не знаю...

– А вы к нам, – проговорил черноволосый, – кочегаром, что ли. Это, скажу вам, дело... А, Ляля... Наше вам с кисточкой!

Вошла барышня, в белой шляпе, с некрасивым нежным лицом, прошла между столиков, улыбнулась сперва собачкам, потом морякам. Никитин спросил что-то и забыл свой вопрос, глядя на девушку, на движение ее низких бедер, по которым всегда можно узнать русскую барышню. Хозяйка нежно взглянула на дочь, устала, мол, просидела все утро в конторе, а не то в магазине служит. Было в ней что-то трогательное, уездное, хотелось ду-

мать о фиалочном мыле, о дачном полустанке в березовом лесу. Конечно, за дверью никакой Франции нет. Кисейные движения. Солнечная чепуха.

– Нет, это вовсе не сложно, – говорил моряк, – бывает так: железная бадья, угольная яма. Подгребаете, значит. Сперва легко, – пока уголь скатом: сам в бадью сыплется; потом тяжелее. Наполните бадью, ставите ее на тележку. Подкатываете к старшему кочегару. Тот ударом лопаты – раз! – отпахивает печь, – два! – той же лопатой бросает, знаете, широко, веером, чтобы ровно лег. Работа тонкая. Извольте следить за стрелкой, а если понизится давление...

В окне с улицы появились голова и плечи человека в панаме и белом пиджаке.

– Как изволите поживать, Ляля?

Облокотился о подоконник.

– Да-да, конечно, жарко, так и пышит. Работать нужно в одних штанах да в сетке. Сетка потом черная. А вот я говорил, – о давлении-то. В печи, значит, образуется накипь, каменная кора, разбиваешь этакой длинной кочергой. Трудно. Зато как потом выскочишь на палубу – солнце, хоть и тропическое, а кажется свежим, – да встанешь под душ, да шмыг к себе в кубрик, в гамак, – благодать, доложу я вам...

Тем временем у окна:

– А он, понимаете, утверждает, что видел меня в автомобиле!

Голос у Ляли был высокий, взволнованный. Ее собеседник, белый господин, стоял, облокотясь с внешней стороны подоконника, и в квадрате окна были видны его круглые плечи, бритое мягкое лицо, наполовину освещенное солнцем: русский, которому повезло.

– Вы еще, говорит, были в сиреневом платье, а у меня и нет такого, – взвизгнула Ляля, – а он настаивает: “же ву засюр”.

– Нельзя ли по-русски, – обернулся моряк, говоривший с Никитиным.

Человек в окне сказал:

– А я, Ляля, достал эти ноты. Помните?

Так и пахло, – почти нарочито, словно кто-то забавлялся тем, что выдумывает эту барышню, этот разговор, этот русский ресторанчик в чужеземном порту, – пахло нежностью русских захолустных будней, и сразу, по чудному и тайному сочетанию мысли, мир показался еще шире, захотелось плыть по морям, входить в баснословные заливы, везде подслушивать чужие души.

– Вы спрашиваете, какой рейс? Индокитай, – так просто сказал моряк.

Никитин задумчиво застучал папиросой о портсигар; на деревянной крышке выжжен золотой орел.

– Хорошо, должно быть.

– А что? Конечно, хорошо.

– Ну, расскажите что-нибудь. Ну, про Шанхай, про Коломбо.

– Шанхай? Видел. Теплый дождик, красный песочек. Сыро, как в оранжерее. А на Цейлон, например, не попал; вахта, знаете... Моя была очередь...

Человек в белом пиджаке, согнув плечи, через окно говорил Ляле что-то, тихо и значительно. Она слушала, набок склонив голову, одной рукой потрагивая завернувшееся ухо собаки. Собака, выпустив огненно-розовый язык, радостно и быстро дыша, глядела в солнечный просвет двери, верно, раздумывая, стоит ли еще полежать на горячем пороге. И казалось, что собака думает по-русски. Никитин спросил:

– Куда же мне обратиться?

Моряк подмигнул приятелю: уломал, дескать. Затем сказал:

– Очень просто. Завтра пораньше пойдете в старый порт, у второго мола найдете наш “Жан-Бар”. Вот и поговорите с помощником капитана. Думаю, что наймет.

Никитин внимательно и ясно посмотрел на чистый, умный лоб моряка.

– Чем вы были раньше, – в России?

Тот пожал плечами, усмехнулся.

– Чем? Дураком, – басом ответил за него вислоусый.

Погодя оба встали. Молодой вынул бумажник, заткнутый в штаны спереди под пряжку пояса, на манер французских матросов. Чему-то высоко засмеялась Ляля, подошедшая к ним, подала руку: ладонь, верно, чуть сырая. Копошились щенки на полу. Человек, стояв-

ший за окном, отвернулся, рассеянно и нежно посвистывая. И Никитин, рассчитавшись, неспешно вышел на солнце.

Было часов пять пополудни. На синеву моря в пролетах переулков больно было смотреть. Пылали круговые щиты уличных уборных.

Он вернулся в свою убогую гостиницу, – и, медленно заломив руки, в блаженном солнечном опьянении свалился навзничь на постель. Ему приснилось, что он снова офицер, идет по крымскому кособогу, поросшему молочаем и дубовым кустарником, – и на ходу стеклом скашивает пушистые головки чертополоха. Он проснулся оттого, что во сне засмеялся: проснулся, а в окне уже синели сумерки.

Подумал, высунувшись в прохладную бездну: бродят женщины. Среди них есть русские. Какая большая звезда.

Пригладил волосы, потер концом одеяла пыльные шишковатые носки сапог, заглянул в кошелек, – пять франков всего, – и опять вышел блуждать, наслаждаться своей одинокой праздностью.

Теперь на улице было люднее, чем днем. Вдоль переулков, спускавшихся к морю, сидели, прохлаждались. Девушка в платке с блестками... Вскинула ресницы... Пузатый лавочник в расстегнутом жилете курил, сидя верхом на соломенном стуле, локтями опираясь на спинку, – и спереди на животе торчал хлястик рубашки. Дети, попрыгивая на корточках, пускали при свете фонаря бумажные лодочки по черной струе, бегущей вдоль узкой панели. Пахло рыбой и вином. Из матросских кабаков, горевших желтым блеском, неслись трудные звуки шарманки, стук ладоней об стол, металлический возглас. А в верхней части города, по главному бульвару, под облаками акаций, шаркали и посмеивались вечерние толпы, мелькали тонкие лодыжки женщин, белые башмаки морских офицеров. Тут и там, словно цветистый огонь застывшего фейерверка, пылало в лиловом сумраке кафе: круглые столики прямо на тротуаре, тени черных платанов на освещенном изнутри полосатом навесе. Никитин остановился, представив себе мысленно кружку пива, ледяную, тяжелую. В глубине за столиками, как руки, заламывались звуки скрипки, и густым звоном переливалась арфа. Чем банальней музыка, тем ближе она к сердцу.

У крайнего столика сидела женщина, вся в зеленом, усталая, гуляющая, покачивала острым носком башмака.

“Выпью, – решил Никитин, – нет, не выпью... А впрочем...”

У женщины были глаза, как у куклы. Что-то было очень знакомое в этих глазах, в длинной линии ноги. Подхватив сумку, она встала, словно торопилась куда-то. На ней была длинная кофточка изумрудной шелковой вязки, низко обхватывавшая бедра. Прошла, щурясь от музыки.

“Вот было бы странно, – подумал Никитин. В памяти у него пронеслось что-то, как сорвавшаяся звезда, – и забыв о пиве, он завернул следом за ней в черный, блестящий переулок. Фонарь вытянул ее тень. Тень мелькнула по стене, перегнулась. Она шла тихо, и Никитин сдерживал шаг, почему-то боясь ее догнать. – Но ведь это несомненно так... Боже мой, как хорошо...”

Женщина остановилась на краю панели. Над черной дверью горела малиновая лампочка. Никитин прошел вперед, вернулся, обошел женщину кругом, стал. Она с воркующим смешком кинула ласковое французское словцо.

При смутном свете Никитин видел ее миловидное, усталое лицо, влажный блеск мелких зубов.

– Послушайте, – сказал он по-русски просто и тихо. – Ведь мы давно знакомы, давайте уж говорить на родном языке.

Она подняла брови:

– Инглиш? Ю спик инглиш?

Никитин пристально глянул, повторил несколько беспомощно:

– Оставьте. Ведь я знаю.

– T’es polonais, alors? – спросила женщина, по-южному раскатывая последний роко-чущий слог.

Никитин сдался, усмехнулся, сунул ей в руку пятифранковую бумажку и, быстро повернувшись, стал переходить покатуую площадь. Через мгновение он услышал за собой по-

спешный шаг, дыханье, шорох платья. Обернулся. Никого. Пустая, темная площадь. Ночной ветер гнал по плитам газетный лист.

Он вздохнул, усмехнулся опять, глубоко засунул кулаки в карманы штанов, – и глядя на звезды, которые вспыхивали и бледнели, словно их раздували гигантские меха, стал спускаться к морю.

Там, над лунным плавным колыханьем волн, на каменной грани старинной пристани, он сел, свесил ноги и так сидел долго, откинув лицо и опираясь на ладони назад отогнутых рук.

Прокатилась падучая звезда с неожиданностью сердечного перебоя. Сильный и чистый порыв ветра прошел по его волосам, побледневшим в ночном сиянии.

3. ЗВОНОК

Семь лет прошло с тех пор, как он с нею расстался. Господи, какая суতোлка на Николаевском вокзале! Не стой так близко, сейчас поезд тронется. Ну вот, – прощай, моя хорошая... Она пошла рядом, высокая, худощавая, в макинтоше, с черно-белым шарфом вокруг шеи, – и медленным течением ее уносило назад. Затем он повоевал, нехотя и беспорядочно. Затем, в одну прекрасную ночь, под восторженное стрекотание кузнечиков, перешел к белым. Затем, – уже через год, – незадолго до выхода на чужбину, – на крутой и каменистой Чайной улице в Ялте, он встретил своего дядю, московского адвоката. Как же, как же, сведения есть, – два письма. Собирается в Германию и разрешение уже получила. А ты – молодцом. И, наконец, Россия дала ему отпуск, – по мнению иных – бессрочный. Россия долго держала его, он медленно соскальзывал вниз с севера на юг, и Россия все старалась удержать его, – Тверью, Харьковом, Белгородом, – всякими занимательными деревушками... не помогло. Был у нее в запасе еще один соблазн, еще один последний подарок, – Таврида, – но и это не помогло. Уехал. И на пароходе он познакомился с молодым англичанином, весельчаком и спортсменом, который отправлялся в Африку.

Николай Степаныч побывал и в Африке, и в Италии, и почему-то на Канарских островах, и опять в Африке, где некоторое время служил в иностранном легионе. Он сперва вспоминал ее часто, потом – редко, потом снова – все чаще и чаще. Ее второй муж, немец, умер во время войны. Ему принадлежали в Берлине два дома. Николай Степаныч рассчитывал, что она в Берлине бедствовать не будет. Но как время идет! Прямо поразительно... Неужто целых семь лет?

За эти годы он окреп, огрубел, лишился указательного пальца, изучил два языка – итальянский и английский. Его глаза стали еще простодушнее и светлее, оттого что ровным, мужицким загаром покрылось лицо. Он курил трубку. Походка его, – крепкая, как у большинства коротконогих людей, – стала удивительно мерною. Одно совершенно не изменилось в нем: его смех, – с прищуриной, с прибауткой.

Он долго посмеивался, качал головой, когда наконец решил все бросить и потихоньку перебраться в Берлин. Как-то раз – в Италии, кажется, – он заметил на лотке русскую газету, издававшуюся в Берлине. Он написал туда, просил поместить объявление, что он, мол, разыскивает... Вскоре после этого он покатыл дальше, так и не узнав ничего. Из Каира уезжал в Берлин старичок журналист Грушевский. Вы там наведите справки. Может быть, найдете. Скажите, что я жив, здоров... Но и тут никаких вестей он не получил. А теперь пора... Нагрязнеть. Там, на месте, уже легче будет разыскать. Возня с визами, денег не ахти как много. Ну, да уж как-нибудь доедем...

И он доехал. В желтом пальто с большими пуговицами, в клетчатом картузе, короткий и широкоплечий, с трубкой в зубах и с чемоданом в руке, он вышел на площадь перед вокзалом, усмехнулся, полюбовался бриллиантовой рекламой, проедающей темноту. Ночь в затхлом номере дешевой гостиницы он провел плохо, – все придумывал, как начать розыски. Адресный стол, редакция русской газеты... Семь лет. Она, должно быть, здорово постарела. Свинство было так долго ждать, – мог раньше приехать. Но эти годы, это великолепное шатание по свету, волнение свободы, свобода, о которой мечталось в детстве!.. Сплошной Майн-Рид... И вот опять – новый город, подозрительная перина и скрежет трам-

вая. Он нащупал спички, обрубком пальца привычным движением стал вдавливать в трубку мягкий табачок.

Во время путешествия забываешь названия дней: их заменяют города. Когда утром Николай Степаныч вышел на улицу с намерением отправиться в полицию, то увидел на всех лавках решетки. Оказалось – воскресенье. Адресный стол, редакция полетели к черту (не дай Бог попасть в воскресенье в чужой город!). Дело было осенью: ветер, астры в скверах, сплошь белое небо, желтые трамваи, трубный рев простуженных таксомоторов. Его несколько знобило от волнения, от мысли, что вот он в том же городе, как и она. За германский полтинник ему дали стакан портвейна в шоферском кабаке, и вино натошак подействовало приятно. На улицах там и сям накрапывала русская речь: “...Сколько раз я тебя просила...” И через несколько туземных прохожих: “...Он мне предлагает их купить, но я, по правде сказать...” От волнения он посмеивался и гораздо скорее, чем обычно, выкуривал трубку. “...Казалось, прошло, – а теперь и Гриша слег...” Опять русские! Он подумал, не подойти ли к ним, не спросить ли поучтивее: “Вы, может быть, знаете такую-то?” В этой заблудившейся русской провинции, наверное, все друг друга знают.

Уже вечерело, и очаровательным мандариновым светом налились в сумерках стеклянные ярусы огромного универсального магазина, – когда Николай Степаныч, проходя мимо какого-то дома, случайно заметил на плоской серой колонке фронтона, у дверей, небольшую белую вывеску: “Зубной врач И. С. Вайнер. Из Петрограда”. Неожиданное воспоминание так и ошпарило его. “Этот, милостивый государь, подгнил, придется удалить”. В окне – прямо против кресла пыток – стеклянные снимки, швейцарские виды... Окно выходило на Мойку. “Теперь прополощите”. И доктор Вайнер, толстый, спокойный старик в белом халате, в проницательных очках, перебирал инструментики. Она ходила к нему, и двоюродные братья ходили, – и еще говорили, когда случалась между ними какая-нибудь обида: а хочешь Вайнера (т. е. в зубы)?

Николай Степаныч постоял перед дверью, хотел было позвонить, – да вспомнил, что нынче воскресенье, подумал – и все-таки позвонил. Что-то зажужжало в замке, и дверь поддалась. Он поднялся на первый этаж. Открыла горничная.

– Нет, господин доктор сегодня не принимает.

– У меня зубы не болят, – возразил Николай Степаныч на прескверном немецком языке. – Доктор Вайнер – мой старый знакомый... Моя фамилия – Галатов, он, вероятно, помнит...

– Я доложу, – сказала горничная.

Через минуту вышел в прихожую пожилой человек, в домашней куртке с бранденбургскими, рыжеватый, удивительно с виду приветливый и, весело отрекомендовавшись, добавил:

– Я вас, однако, не помню, – тут, вероятно, произошла ошибочка.

Николай Степаныч посмотрел на него и извинился:

– Да. И я вас тоже не помню. Я думал найти того доктора Вайнера, который жил до революции на Мойке. Промахнулся, – простите.

– Ах, это однофамилец, – сказал дантист. – Однофамилец. Это однофамилец. Я жил на Загородном.

– Мы у него все лечились, – пояснил Николай Степаныч. – Вот я и думал... Дело в том, что я разыскиваю одну даму, – госпожу Неллис...

Вайнер прикусил губу, напряженно посмотрел в сторону, потом снова обратился к нему.

– Позвольте... Если я не ошибаюсь... По-моему... По-моему, какая-то госпожа Неллис была у меня не так давно... Это мы сейчас установим. Будьте любезны пройти ко мне в кабинет.

В кабинете Николай Степаныч ничего не разглядел. Он не сводил глаз с безукоризненной лысины Вайнера, который наклонился над своим журналом.

– Это мы сейчас установим, – говорил Вайнер, водя пальцем по страницам. – Это мы сейчас установим. Это мы сейчас... Вот, пожалуйста, – Неллис. Золотая пломба и еще что-то, – не вижу, тут клякса.

– А как имя и отчество? – спросил Николай Степаныч, подойдя к столу, и обшлагом чуть не сбил пепельницу.

– И это отмечено. Ольга Кирилловна.

– Да, правильно, – облегченно вздохнул Николай Степаныч.

– Адрес: Планнерштрассе 59, бай Баб, – чмокнул Вайнер и быстро переписал адрес на отдельный листок. – Вторая улица отсюда. Пожалуйста. Очень рад услужить. Это ваша родственница?

– Моя мать, – сказал Николай Степаныч.

Выйдя от дантиста, он пошел несколько ускоренным шагом. То, что он так скоро ее отыскал, поразило его, как карточный фокус. Едучи в Берлин, он ни минуты не думал о том, что, может быть, она давно умерла или переехала в другой город, в другую страну, – и все-таки фокус удался. Вайнер оказался не тем Вайнером, – и все-таки судьба вышла из положения. Прекрасный город, прекрасный дождь! (Бисерный осенний дождь моросил как бы шепотом, и на улицах было темно.) Как она встретит его? Нежно? Или грустно? Или совсем спокойно? Она не баловала его в детстве. Ты не смеешь тут бегать, когда я играю на рояле. Потом, когда он вырос, ему часто казалось, что он мало нужен ей. Теперь он старался вообразить ее лицо, но мысли упорно не окрашивались, и он никак не мог собрать в живой зрительный образ то, что знал умом: ее худую, высокую, как бы некрепко свинченную фигуру, темные волосы с налетом седины у висков, большой бледный рот, потрепанный макинтош, в котором она была в последний раз, и усталое, горькое, уже старческое выражение, которое появилось на ее увядшем лице в те бедственные годы. Пятьдесят первый номер. Еще восемь домов.

Он спохватился вдруг, что волнуется нестерпимо, до неприличия, – куда больше, чем в тот миг, например, когда лежал, страшно потев, уткнувшись боком в скалу, и целился в налетающий вихрь, – в белое чучело на чудесной арабской лошади. Не доходя до пятьдесят девятого номера, он остановился, вынул трубку и резиновый мешочек с табаком, набил трубку медленно, тщательно, не выронив ни одной табачной стружки, – поднес спичку, потянул, посмотрел, как взбухает огненный холмик, набрал полный рот сладковатого, щиплющего язык дыма, осторожно выпустил его – и не спеша, крепкими шагами, подошел к дому.

На лестнице было так темно, что раза два он споткнулся. Добравшись в густом мраке до первой площадки, он чиркнул спичкой и осветил золотистую дощечку подле двери. Не та фамилия. Странное имя “Баб” он нашел только гораздо выше. Огонек обжег ему пальцы и потух. Фу ты, как сердце стучит... Он в темноте нащупал кнопку и позвонил. Затем вынул трубку из зубов и стал ждать, чувствуя, как мучительная улыбка разрывает ему рот.

И вот – что-то звякнуло за дверью, раз, еще раз – и, как ветер, качнулась дверь. В передней было так же темно, как на лестнице, и из этой темноты к нему вылетел звучный и веселый голос. “У нас во всем доме погасло электричество, – прямо ужас”, – и он мгновенно узнал это долгое, тягучее “у” в “ужасе” и мгновенно по этому звуку восстановил до малейших черт ту, которая, скрытая тьмой, стала в дверях.

– Правда, – ни зги не видать, – усмехнулся он и шагнул к ней.

Она так ахнула, будто кто-то с размаху ударил ее. Он отыскал в темноте ее руки, плечи, толкнул что-то (вероятно, подставку для зонтиков).

– Нет-нет-нет – это невозможно, это невозможно... – быстро-быстро повторяла она и куда-то пятилась.

– Да постой же, мама, постой же, – сказал он, – и опять стукнулся (на этот раз о полуоткрытую дверь, которая со звоном захлопнулась).

– Это с ума можно сойти... Коленька, Коль...

Он целовал ее в щеки, в волосы, куда попало, – ничего не видя в темноте, но каким-то внутренним взором узнавая ее всю, с головы до пят, – и только одно было в ней новое (но и это новое неожиданно напомнило самую глубину детства, – когда она играла на рояле) – сильный, нарядный запах духов, – словно не было тех промежуточных лет, когда он мужал, а она старела, и не душилась больше, и потом так горько увядала, – в те бедственные годы, – и словно всего этого не было, и он из далекого изгнания попал прямо в детство...

– Вот – ты. Это – ты. Ну, вот – ты... – лепетала она, мягкими губами прижимаясь к нему. – Это хорошо... Это так надо...

– Да неужели нигде нет света? – рассмеялся Николай Степаныч.

Она толкнула какую-то дверь и проговорила взволнованным голосом:

– Да. Пойдем. У меня там свечи горят.

– Ну, покажись... – сказал он, входя в оранжевое мерцание свеч, и жадно взглянул на мать. У нее волосы были совсем светлые, выкрашенные в цвет соломы.

– Ну, что же, узнаешь? – сказала она, тяжело дыша, и поспешно добавила: – Да не смотри так. Рассказывай, рассказывай! Как ты загорел... Боже мой! Да, ну же, рассказывай!

Белокурые, подстриженные волосы... А лицо было раскрашено с какой-то мучительной тщательностью. Но мокрая полоска слезы разъела розовый слой, но дрожали густые от краски ресницы, но полиловела пудра на крыльях носа... Она была в синем лоснящемся платье с высоким воротником. И все было в ней чужое, и беспокойное, и страшное.

– У тебя, мама, вероятно, сегодня визиты, – заметил Николай Степаныч, не зная, что сказать, и энергично скинул пальто.

Она пошла от него к столу, где что-то было нагромождено и блестело, – потом к нему опять, посмотрелась в зеркало, – словно не знала, что делать.

– Сколько лет... Боже мой! Я прямо не верю глазам. Да-да, у меня должны быть гости. Я их отменю. Я позвоню. Я что-нибудь сделаю. Надо отменить... Ах ты, Боже мой...

Она прижалась к нему, теребила ему рукава.

– Да успокойся, мама, что с тобой, нельзя же так. Сядем куда-нибудь. Скажи, как у тебя все? Как ты поживаешь?.. – И почему-то боясь ответов на свои вопросы, он стал рассказывать о себе, ладно прищелкивая слово к слову, попыхивая трубкой, стараясь заговорить, обкурить свое изумление. Оказалось, что и объявление она видела, и со стареньким журналистом встретила, и несколько раз писала сыну в Италию, в Каир... Теперь, после того, как он рассмотрел ее искаженное краской лицо, ее искусственно желтые волосы, – ему казалось, что и голос ее уже не тот. И, рассказывая о своих приключениях, не останавливаясь ни на мгновение, он оглядывал наполовину освещенную, дрожащую комнату, с плюшевой кошкой на камине, с ширмой, из-за которой выступало изножье кровати, с Фридрихом, играющим на флейте, с вазочками на полке, в которых прыгало, как ртуть, отражение огней... Странствуя глазами по комнате, он рассмотрел и то, что раньше мельком заметил, – накрытый на двоих стол, пузатую бутылку ликера, две высокие рюмки и огромный розовый пирог в разноцветном кольце еще не зажженных восковых свечек. – "...Я, конечно, сразу выскочил, – и что же, ты думаешь, оказалось? Ну-ка, угадай!" – Она как бы очнулась, испуганно посмотрела на него (а сидела она рядом, на диване, слегка откинувшись, сжав руками виски, – и ее ноги отливали незнакомым блеском). "Да ты разве не слушаешь, мама?"

– Нет, что ты, – я слушаю, я слушаю...

И теперь он подметил еще одно: она была странно рассеянна, словно прислушивалась не к его словам, а к чему-то постороннему, грозящему и неизбежному... Он продолжал свой рассказ, – но опять остановился, спросил:

– Это в честь кого же, – пирог? Очень аппетитный. – Его мать растерянно улыбнулась.

– Ах, это просто так... Я говорю же тебе, что у меня сегодня визиты.

– Мне ужасно напомнило Петербург, – сказал Николай Степаныч. – И, помнишь, ты раз ошиблась, забыла одну свечу. Мне стукнуло десять, а свеч было только девять. Фукнула мой день рождения. Вот был рев. А тут сколько штук?

– Да не все ли равно!.. – крикнула она и встала, будто хотела ему загородить стол. – Скажи мне лучше, который час? Мне нужно отменить, позвонить, что-нибудь сделать.

– Четверть восьмого, – сказал Николай Степаныч.

– Ах, это слишком поздно! – снова крикнула она. – Все равно! Теперь уж все равно...

Оба замолчали. Она опять села. А Николай Степаныч старался себя заставить обнять ее, приласкаться к ней, спросить: Послушай, мама, – да что с тобой случилось? Да расскажи мне наконец... Он опять посмотрел на блестящий стол, сосчитал свечки вокруг пирога. Их было двадцать пять штук. Двадцать пять! А ему-то уж двадцать восемь...

– Да не осматривай так мою комнату! – сказала мать. – Прямо сыщик! Ужасающая комната, я хочу переехать, – быстро продолжала она – и вдруг легко ахнула: – Постой... Что это такое? Это ты стукнул?

– Да, – ответил Николай Степаныч, – трубку выбиваю. А скажи мне, – у тебя есть деньги? Ты не нуждаешься?

Она стала поправлять какую-то ленточку на рукаве и заговорила, на него не глядя...

– Да... Ведь ты знаешь, кое-что после Генриха осталось... Но я должна тебя предупредить, – мне только как раз хватает на жизнь. Ради Бога, не стучи трубкой. Я должна тебя предупредить, что я... Что тебя... Ну, ты понимаешь, Коля, мне будет трудно тебя содержать...

– Эх, мамахен, куда ты загнула, – воскликнул Николай Степаныч (и в это мгновение, как солнце из-за облака, ударил с потолка электрический свет). – Ну вот, – можно свечи тушить, – а то сидим прямо как в склепе. Видишь ли, у меня небольшой запасец денег есть, – да и вообще я – вольная птица... Садись же, что ты бегаешь по комнате?

Высокая, худая, ярко-синяя, она остановилась перед ним, и теперь, при полном свете, он увидел, как она постарела, как упорно выступают сквозь восковой слой красок морщины на щеках и на лбу. И эти ужасные желтые волосы!..

– Ты так нагрязнул, – сказала она и, кусая губы, заглянула в лицо маленьким часам, стоявшим на полке. – Как снег на голову... Они спешат. Нет, остановились. У меня сегодня визиты, – а вот ты приехал... С ума сойти...

– Глупости, мама. Придут, увидят, что сын приехал, и очень скоро испарятся. А мы еще с тобой сегодня вечером в какой-нибудь мюзик-холл махнем, где-нибудь поужинаем... Я, вот, помню, видал африканский театр, – удивительная штука, прямо номер! Представь себе, человек пятьдесят негров, и такое, довольно большое, ну, примерно, как...

Громкий звонок затрещал с парадной. Ольга Кирилловна, присевшая было на ручку кресла, встрепенулась и выпрямилась.

– Постой, я открою, – сказал Николай Степаныч и поднялся.

Она поймала его за рукав. Лицо у нее дергалось. Звонок осекся, – ждал.

– Это же, вероятно, твои визиты, – сказал Николай Степаныч. – Надо открыть.

Его мать резко мотнула головой, прислушиваясь.

– Как же так... – начал Николай Степаныч.

Она потянула его за рукав, шепотом проговорила:

– Не смей! Я не хочу... Не смей...

Звонок засверлил опять, на этот раз настойчиво и раздраженно. И сверлил долго.

– Пусти меня, – сказал Николай Степаныч. – Это глупо... Если звонят, надо открыть. Чего ты боишься?

– Не смей... Слышишь, не смей... – повторяла она, судорожно лоя его руки. – Я тебя умоляю... Коля, Коля, Коля!.. Не надо!

Звонок опять осекся. Его сменил крепкий стук, – производимый набалдашником трости, что ли.

Николай Степаныч решительно направился в переднюю. Но на пороге комнаты мать поймала его за плечи, – изо всех сил старалась оттащить его и все шептала: “Не смей... Не смей... Ради Бога!..”

Еще раз грянул звонок, коротко и гневно.

– Твое дело, – усмехнулся Николай Степаныч и, заложив руки в карманы, прошелся вдоль комнаты. “Кошмар – да и только”, – подумал он и усмехнулся опять.

Звон прекратился. Все было тихо. Звонившему, видно, надоело, и он ушел. Николай Степаныч приблизился к столу, осмотрел великолепный, облитый блестящим кремом пирог, двадцать пять праздничных свечечек, две тоненьких рюмки. Рядом, словно притаясь в тени бутылки, лежала белая картонная коробочка. Он поднял ее, снял крышку. Внутри был новенький, довольно безвкусный серебряный портсигар.

– Так, – сказал Николай Степаныч.

Он обернулся – и только тогда заметил, что его мать, полулежа на кушетке и уткнувшись лицом в подушку, вздрагивает от рыданий. В прежние годы он часто видал ее плачущей, – но тогда она плакала совсем иначе, – сидела за столом, что ли, и, плача, не отворачивала лица, громко сморкалась и говорила, говорила, – а тут она рыдала так молодо, так свободно лежала... и было что-то изящное в повороте ее спины, в том, что одна нога в бархатном башмачке касается пола... Прямо можно было подумать, что это плачет молодая белокурая женщина... И платочек ее, как полагается, лежал комочком на ковре.

Николай Степаныч, крикнув, подошел, сел рядом на край кушетки. Крикнул опять. Его

мать, скрывая лицо, заговорила в подушку:

– Ах, зачем ты не приехал раньше! Ну хотя бы на год раньше... Только на год...

– Сам не знаю, – сказал Николай Степаныч.

– Теперь все кончено... – всхлинула она, и ее светлые волосы дрогнули. – Все конечно. Мне в мае будет пятьдесят лет. Взрослый сын приехал к старушке матери. И зачем ты приехал... именно теперь... именно сегодня...

Николай Степаныч надел пальто (которое, не по-европейски, бросил просто в угол), вынул из кармана картуз и опять присел рядом.

– Завтра утром я покачу дальше, – сказал он, поглаживая мать по плечу, по синему блестящему шелку. – Мне хочется теперь на север, – в Норвегию, что ли. А то на море, китов бить. Я тебе буду писать. Так, через годок, снова встретимся, тогда, может быть, дольше останусь. Уж ты не пеняй на меня, – кататься хочется!

Она быстро обхватила его, прижалась мокрой щекой к его шее. Потом сжала ему руку и вдруг удивленно вскрикнула.

– Пуля оттяпала, – рассмеялся Николай Степаныч. – Прощай, моя хорошая.

Она потрогала гладкий обрубок пальца и осторожно его поцеловала. Потом обняла сына, проводила его до дверей.

– Пиши, пожалуйста, почаще... Что ты смеешься? У меня, верно, вся пудра сошла.

И как только дверь за ним захлопнулась, она, шумя синим платьем, кинулась к телефону.

4. ПИСЬМО В РОССИЮ

Друг мой далекий и прелестный, стало быть ты ничего не забыла за эти восемь с лишком лет разлуки, если помнишь даже седых, в лазоревых ливреях, сторожей, вовсе нам не мешавших, когда, бывало, морозным петербургским утром встречались мы в пыльном, маленьком, похожем на табакерку, музее Суворова. Как славно целовались мы за спиной воскового гренадера! А потом, когда выходили из этих старинных сумерек, как обжигали нас серебряные пожары Таврического сада и бодрое, жадное гаканье солдата, бросавшегося по команде вперед, скользившего на гололедице, втыкавшего с размаху штык в соломенный живот чучела, посредине улицы.

Странно: я сам решил, в предыдущем письме к тебе, не вспоминать, не говорить о прошлом, особенно о мелочах прошлого; ведь нам, писателям, должна быть свойственна возвышенная стыдливость слова, а меж тем я сразу же, с первых же строк, пренебрегаю правом прекрасного несовершенства, оглушаю эпитетами воспоминание, которого коснулась ты так легко. Не о прошлом, друг мой, я хочу тебе рассказывать.

Сейчас – ночь. Ночью особенно чувствуешь неподвижность предметов, – лампы, мебели, портретов на столе. Изредка за стеной в водопроводе всхлипывает, переливается вода, подступая как бы к горлу дома. Ночью я выхожу погулять. В сыром, смазанном черным салом, берлинском асфальте, текут отблески фонарей; в складках черного асфальта – лужи; кое-где горит гранатовый огонек над ящиком пожарного сигнала, дома – как туманы, на трамвайной остановке стоит стеклянный, налитый желтым светом, столб, – и почему-то так хорошо и грустно делается мне, когда в поздний час пролетает, визжа на повороте, трамвайный вагон – пустой: отчетливо видны сквозь окна освещенные коричневые лавки, меж которых проходит против движенья, пошатываясь, одинокий, словно слегка пьяный, кондуктор с черным кошельком на боку.

Странствуя по тихой, темной улице, я люблю слушать, как человек возвращается домой. Сам человек не виден в темноте, да и никогда нельзя знать наперед, какая именно парадная дверь оживет, со скрежетом примет ключ, распахнется, замрет на блоке, захлопнется; ключ с внутренней стороны заскрежетает снова, и в глубине, за дверным стеклом, засияет на одну удивительную минуту мягкий свет.

Прокатывает автомобиль на столбах мокрого блеска, – сам черный, с желтой полоской под окнами, – сыро трубит в ухо ночи, и его тень проходит у меня под ногами. Теперь уже совсем пуста улица. Только старый дог, стуча когтями по панели, нехотя водит гулять вя-

лую, милovidную девицу, без шляпы, под зонтиком. Когда проходит она под красным огоньком, который висит слева, над пожарным сигналом, одна тугая черная доля зонтика влажно багровеет.

А за поворотом, над сырой панелью, – так неожиданно! – бриллиантами зыблется стена кинематографа. Там увидишь на прямоугольном, светлом, как луна, полотне более или менее искусно дрессированных людей; и вот с полотна приближается, растет, смотрит в темную залу громадное женское лицо с губами, черными, в блестящих трещинках, с серыми мерцающими глазами, – и чудесная глицериновая слеза, продолговато светясь, стекает по щеке. А иногда появится, – и это, разумеется, божественно, – сама жизнь, которая не знает, что снимают ее, – случайная толпа, сияющие воды, беззвучно, но зримо шумящее дерево.

Дальше, на углу площади, высокая, полная проститутка в черных мехах медленно гуляет взад и вперед, останавливаясь порой перед грубо озаренной витриной, где подрумяненная восковая дама показывает ночным зевакам свое изумрудное текучее платье, блестящий шелк персиковых чулок. Я люблю видеть, как к этой пожилой, спокойной блуднице подходит, предварительно обогнав ее и дважды обернувшись, немолодой, усатый господин, утром приехавший по делу из Папенбурга. Она неторопливо поведет его в меблированные комнаты, в один из ближних домов, которого днем никак не отыщешь среди остальных, таких же обыкновенных. За входной дверью равнодушный, вежливый привратник сторожит всю ночь в неосвещенных сенях. А наверху, на пятом этаже, такая же равнодушная старуха мудро отопрет свободную комнату, спокойно примет плату.

А знаешь ли, с каким великолепным грохотом промахивает через мост, над улицей, освещенный, хохочущий всеми окнами своими поезд? Вероятно, он дальше предместья не ходит, но мрак под черным сводом моста полон в это мгновение такой могучей чугунной музыки, что я невольно воображаю теплые страны, куда укачу, как только добуду те лишних сто марок, о которых мечтаю – так благодушно, так беззаботно.

Я так беззаботен, что даже иногда люблю посмотреть, как в здешних кабачках танцуют. Многих тут с негодованием (и в таком негодовании есть удовольствие) кричат о модных безобразиях, в частности о современных танцах, – а ведь мода это – творчество человеческой посредственности, известный уровень, пошлость равенства, – и кричать о ней, бранить ее, значит признавать, что посредственность может создать что-то такое (будь то образ государственного правления или новый вид прически), о чем стоило бы пошуметь. И, разумеется, эти-то наши, будто бы модные, танцы на самом деле вовсе не новые: увлекались ими во дни Директории, благо и тогдашние женские платья были тоже нательные, и оркестры тоже – негритянские. Мода через века дышит: купол кринолина в середине прошлого века – это полный вздох моды, потом опять выдох, – сужающиеся юбки, тесные танцы. В конце концов, наши танцы очень естественны и довольно невинны, а иногда, – в лондонских бальных залах, – совершенно изящны в своем однообразии. Помнишь, как Пушкин написал о вальсе: “однообразный и безумный”. Ведь это все то же. Что же касается падения нравов... Знаешь ли, что я нашел в записках господина д’Агрикура? “Я ничего не видал более развратного, чем менуэт, который у нас изволят танцевать”.

И вот, в здешних кабачках я люблю глядеть, как “чета мелькает за четой”, как играют простым человеческим весельем забавно подведенные глаза, как переступают, касаясь друг друга, черные и светлые ноги, – а за дверью – моя верная, моя одинокая ночь, влажные отблески, гудки автомобилей, порывы высокого ветра.

В такую ночь на православном кладбище, далеко за городом, покончила с собой на могиле недавно умершего мужа семидесятилетняя старушка. Утром я случайно побывал там, и сторож, тяжкий калека на костылях, скрипевших при каждом размахе тела, показал мне белый невысокий крест, на котором старушка повесилась, и приставшие желтые ниточки там, где натерла веревка (“новенькая”, – сказал он мягко). Но таинственнее и прелестнее всего были серповидные следы, оставленные ее маленькими, словно детскими, каблучками в сырой земле у подножья. “Потопталась маленько, а так, – чисто”, – заметил спокойно сторож, – и, взглянув на ниточки, на ямки, я вдруг понял, что есть детская улыбка в смерти.

Быть может, друг мой, и пишу я все это письмо только для того, чтобы рассказать тебе об этой легкой и нежной смерти. Так разрешилась берлинская ночь.

Слушай, я совершенно счастлив. Счастье мое – вызов. Блуждая по улицам, по площа-

дям, по набережным вдоль канала, – рассеянно чувствуя губы сырости сквозь дырявые подошвы, – я с гордостью несу свое необъяснимое счастье. Прокатят века, – школьники будут скучать над историей наших потрясений, – все пройдет, все пройдет, но счастье мое, милый друг, счастье мое останется, – в мокром отражении фонаря, в осторожном повороте каменных ступеней, спускающихся в черные воды канала, в улыбке танцующей четы, во всем, чем Бог окружает так щедро человеческое одиночество.

5. СКАЗКА

Фантазия, трепет, восторг фантазии... Эрвин хорошо это знал. В трамвае он садился всегда по правую руку, – чтобы ближе быть к тротуару. Ежедневно, дважды в день, в трамвае, который вез его на службу и со службы обратно, Эрвин смотрел в окно и набирал гарем.

Один тротуар он разрабатывал утром, когда ехал на службу, другой – под вечер, когда возвращался, – и сперва один, потом другой купался в солнце, так как солнце тоже ехало и возвращалось. Нужно иметь в виду, что только раз за свою жизнь Эрвин подошел на улице к женщине, – и эта женщина тихо сказала: “Как вам не стыдно... Подите прочь”. С тех пор он избегал разговоров с ними. Зато, отделенный от тротуара стеклом, прижав к ребрам черный портфель и вытянув ногу в задрипанной полосатой штанине под супротивную лавку, – Эрвин смело, свободно смотрел на проходивших женщин, – и вдруг закусывал губу; это значило – новая пленница; и тотчас он оставлял ее, и его быстрый взгляд, прыгавший, как компасная стрелка, уже отыскивал следующую. Они были далеко от него, и потому хмурая робость не примешивалась к наслаждению выбора. Если же случалось, что миловидная женщина садилась против него, он втягивал ногу из-под лавки со всеми признаками досады – не свойственной, впрочем, его очень юным летам, – и потом не мог решиться посмотреть в лицо этой женщины, – вот тут, в лобных костях, над бровями, так и ломило от робости, – словно сжимал голову железный шлем, не давал поднять глаза, – и какое это было облегчение, когда она поднималась и шла к выходу. Тогда, в притворном рассеянии, он оборачивался, хапал взглядом ее прелестный затылок, шелковые икры, – и приобщал ее к своему несуществующему гарему. И потом снова лился мимо окон солнечный тротуар, и Эрвин, вытянув одну ногу, повернув к стеклу тонкий, бледный нос, с заметной выемкой на кончике, выбирал невольниц, – и вот, что такое фантазия, трепет, восторг фантазии.

Однажды в субботу, легким майским вечером, Эрвин сидел в открытом кафе и глядел, изредка захватывая резцом нижнюю губу, на вечерних, прохлаждавшихся прохожих. Небо было сплошь розоватое, и в сумерках каким-то неземным огнем горели фонари, лампочки вывесок. Высокая пожилая дама в темно-сером костюме, тяжело играя бедрами, пройдя меж столиков и не найдя ни одного свободного, положила большую руку в блестящей черной перчатке на спинку пустого стула против Эрвина.

– Да, пожалуйста, – с легким нырком сказал Эрвин. Таких крупных пожилых дам он не очень боялся.

Она молча села, положила на стол свою сумку – прямоугольную, скорее похожую на небольшой черный чемоданчик, и заказала порцию кофе с яблочным тортом. Голос у нее был густой, хрипловатый, но приятный.

Огромное небо, налитое розоватой мутью, темнело, мигали огни, промахнул трамвай и разрыдался райским блеском в асфальте. И проходили женщины.

– Хорошо бы вот эту, – кусал губу Эрвин. И затем, через несколько минут: – и вот эту.

– Что же, это можно устроить, – сказала дама тем же спокойным тускловатым голосом, каким говорила с лакеем.

Эрвин от изумления привстал. Дама смотрела на него в упор, медленно расстегивая и стягивая с руки перчатку. Ее подтушеванные глаза, как яркие поддельные камни, блестели равнодушно и твердо, под ними взбухали темные мешочки, снятая перчатка обнаружила большую морщинистую руку с миндалевидными, выпуклыми, очень острыми ногтями.

– Не удивляйтесь, – усмехнулась дама – и затем, с глухим зевком, добавила: – дело в том, что я – черт.

Оробевший Эрвин принял было это за иносказание, но дама, понизив голос, продол-

жала так:

– Очень напрасно меня воображают в виде мужчины с рогами да хвостом. Я только раз появилась в этом образе, и право не знаю, чем именно этот образ заслужил такой длительный успех. Я рождаюсь три раза в два столетия. Последний раз была королюком в африканском захолустье. Это был отдых от более ответственных воплощений. А ныне я госпожа Отт, три раза была замужем, довела до самоубийства нескольких молодых людей, заставила известного художника срисовать с фунта вестминстерское аббатство, подговорила добродетельного семьянина –...впрочем, я не буду хвастать. Как бы то ни было, я этим воплощением насытилась вполне...

Эрвин пробормотал что-то и потянулся за шляпой, упавшей под стол.

– Нет, погодите, – сказала госпожа Отт, ввертывая в эмалевый мундштук толстую папиросу. – Я же вам предлагаю гарем. А если вы еще не верите в мою силу... Видите, вон там через улицу переходит господин в черепаховых очках. Пускай на него наскочит трамвай.

Эрвин, мигая, посмотрел на улицу. Господин в очках, дойдя до рельс, вынул на ходу носовой платок, хотел в него чихнуть, – и в это мгновение блеснуло, грянуло, прокатило. Люди в кафе ахнули, повскачили с мест. Некоторые побежали через улицу. Господин, уже без очков, сидел на асфальте. Ему помогли встать, он качал головой, тер ладони, виновато озирался.

– Я сказала: наскочит, – могла сказать: раздавит, – холодно проговорила госпожа Отт. – Во всяком случае это пример.

Она выпустила сквозь ноздри два серых клыка дыма и опять в упор уставилась на Эрвина.

– Вы мне сразу понравились. Эта робость... Это смелое воображение... Нынче мой предпоследний вечер. Положение стареющей женщины мне порядком надоело. Да кроме того я так накудесила на днях, что лучше поскорее из жизни выбраться. В понедельник на рассвете предполагаю родиться в другом месте...

– Итак, милый Эрвин, – продолжала госпожа Отт, принимаясь за кусок яблочного торта, – я решила невинно поразвлечься, и вот что я вам предлагаю: завтра, с полудня до полночи вы можете отмечать взглядом тех женщин, которые вам нравятся, и ровно в полночь я их всех соберу для вас в полное ваше распоряжение. Как вы смотрите на это?

Эрвин опустил глаза и тихо произнес:

– Если все это правда, то это большое счастье...

– Ну вот и ладно, – сказала госпожа Отт.

– Однако я должна поставить вам одно условие, – продолжала она, слизывая крем с ложечки. – Нет, не то, что вы думаете. Я в свое время уже запаслась очаровательной душой для следующего моего воплощения. Вашей души мне не нужно. А условие вот какое: число ваших избранниц должно быть нечетное. Это – непременно. Иначе я вам ничего устроить не могу.

Эрвин кашлянул и почти шепотом спросил:

– А... как же мне знать... Ну, например, я отметил: – что дальше?

– Ничего, – сказала госпожа Отт. – Ваше чувство, ваше желание – уже приказ. Впрочем, для того, чтобы вы знали, что сделка совершена, что я согласна на тот или другой выбор ваш, я всякий раз вам дам знак: случайную улыбку самой женщины или просто слово, сказанное в толпе, – вы уж поймете.

– Да, вот еще, – сказал Эрвин, шаркая под столом подошвами. – Где же это будет – ну – происходить? У меня комната маленькая.

– Об этом не беспокойтесь, – сказала госпожа Отт и, скрипнув корсетом, встала. – Теперь вам пора домой. Не мешает хорошо выспаться. Я вас подвезу.

И в открытом таксомоторе, в налетающих струях темного ветра, между звездным небом и звездным асфальтом, Эрвин почувствовал, что счастлив чрезвычайно. Госпожа Отт сидела очень прямо, острым углом перекинув ногу на ногу – и в ее твердых блестящих глазах мелькали ночные огни города.

Ветер остановился.

– Ну вот и ваш дом, – сказала она, тронув Эрвина за локоть. – До свидания.

Мало ли какие мечты нагонит кружка черного густого пива, проколотого молнией ко-

ньяка? Проснувшись на следующее утро, Эрвин так и подумал, – что был пьян, что сам вообразил разговор с пожилой странной дамой в кафе. Но постепенно припоминая всякие мелочи вчерашней встречи, – он понял, что одним воображением всего этого не объяснишь.

Вышел он на улицу около половины первого. И оттого, что было воскресенье, и оттого, что вокруг шалаша уборной на углу лиловой бурей кипела персидская сирень, Эрвин чувствовал замечательную легкость, – а ведь легкость – это почти полет. Посредине сквера в квадратной ямине дети, подняв маленькие фланелевые зады, лепили чудеса из песка. Глянцевитые листья лип трепетали, темные сердечки их теней трепетали на гравии, поднимались легкой стаей по штанам и юбкам гуляющих, взбегали, рассыпались по лицу и плечам, – и всею стаей соскальзывали опять на землю, где, чуть шевелясь, ожидали следующего прохожего. И, проходя по скверу, Эрвин увидел девушку в белом платье, сидевшую на корточках и двумя пальцами теребившую толстого мохнатого щенка со смешными бородавками на брюхе. Она нагивала голову – сзади оголялась шея – перелив хребта, светлый пушок, круглота плеч, разделенных нежной выемкой, – и солнце находило жаркие золотистые пряди в ее каштановых волосах. Продолжая игру со щенком, она встала с корточек и, глядя вниз на него, хлопнула в ладоши, – и щенок перевернулся на земле, отбежал в сторону, мягко упал на бок. Эрвин присел на скамейку и мгновенным, робким и жадным взглядом окинул ее лицо. Он увидел его так ясно, так пронзительно, с такой совершенной полнотой восприятия, что быть может долгие годы близости ничего не могли бы открыть ему нового в этих чертах. Ее неяркие губы чуть вздрагивали, словно повторяя все маленькие, мягкие движения щенка, вздрагивали ее ресницы, – такие сверкающие, что казались тонкими лучами ее играющих глаз, – но быть может прелестнее всего был изгиб щеки – слегка в профиль, – этого изгиба, конечно, никакими словами не изобразишь. Она побежала, замелькали ее гладкие ноги, – за ней покатился мохнатым шариком щенок. И вдруг Эрвин вспомнил, какая власть ему дана, – и затаив дыхание, стал ждать знака, и в это мгновение девушка на бегу обернулась и сверкнула улыбкой на живой шарик, едва поспевавший за ней.

– Первая, – мысленно сказал Эрвин и встал со скамейки.

Пошаркивая по гравии ярко-желтыми, почти оранжевыми башмаками, Эрвин вышел из сквера. Его взгляд постреливал по сторонам, – но, потому ли, что девушка со щенком оставила в его душе солнечную впадину, – он все не мог найти женское лицо, которое бы ему понравилось. Вскоре, однако, эта солнечная щель затянулась, и вот, у стеклянного столба с расписанием трамваев, Эрвин заметил двух молодых дам, – судя по сходству, сестер, – звонко обсуждавших маршрут. Обе были худенькие, в черном шелку, слегка подкрашенные, с живыми глазами.

– Тебе нужно сесть вот в этот номер, именно вот в этот, – говорила одна.

– Обеих, пожалуйста, – быстро попросил Эрвин.

– Ну, да, как же иначе... – ответила вторая на слова сестры.

Эрвин сошел с тротуара, пересек площадь. Он знал все места, где понаряднее, где больше возможностей.

– Три, – сказал он про себя. – Нечет. Пока, значит, все хорошо. И если бы сейчас была полночь...

Она сходила по ступенькам подъезда, раскачивая в руке сумку. За нею вышел, закуривая сигару, высокий господин, с синими от бритья щеками и крепким, как пятка, подбородком. Дама была без шляпы, ее темные волосы, стриженные по-мальчишески, ровной каймой закрывали лоб. На отвороте жакетки пунцовела большая поддельная роза. Когда она прошла, Эрвин заметил, от двери слева, папиросную рекламу – светлоусый турок в феске и крупное слово: “Да! – а под ним помельче: “я курю только Розу Востока”.

Почувствовав приятный холодок, он отправился в дешевый ресторан, сел в глубине, у телефонного аппарата, оглядел обедающих. Ни одна из дам не прельщала его. “Может быть эта. Нет, обернулась – стара... Никогда не нужно судить по спине”.

Лакей принес обед. К телефону рядом подошел мужчина в котелке, вызвал номер и стал взволнованно кричать, как пес, попавший на свежий след зайца. Блуждающий взгляд Эрвина пополз к стойке и нашел там деловитую девицу, ставившую на поднос только что вымытые пивные кружки. Он скользнул по ее оголенным рукам, по бледному, рябоватому, но чрезвычайно милovidному лицу и подумал: “Ну, что ж – и вот эту”.

– Да! Да! Да! – взволнованно лял мужчина в телефонную воронку.

Пообедав, Эрвин отяжелел, – решил, что хорошо бы соснуть часок. По правде сказать, оранжевые башмаки жали пребольно. Было душновато. Огромные жаркие облака белыми куполами вздымались и теснили друг друга. Народ на улицах поредел, – зато так и чувствовалось, что дома наполнены до краев густым послеобеденным храпом. Эрвин сел в трамвай.

Вагон рванулся и, покрякивая, покатил. Эрвин, повернув к стеклу бледный запотевший нос, ловил взглядом мелькавшие женские лица. Платя за билет, он заметил, что слева от прохода сидит, обернувшись к нему черной бархатной шляпой, дама в легком платье, разрисованном желтыми цветами, переплетающимися по лиловатому полупрозрачному фону, сквозь который проступали светлые перехваты лифа, – и крупная стройность этой дамы возбудила в нем желание взглянуть и на ее лицо. Когда ее шляпа нагнулась, черным кораблем стала поворачиваться, – он, по своему обыкновению, отвел глаза, в притворном рассеянии поглядел на сидевшего против него мальчика, на краснощекого старичка, дремавшего в глубине – и получив, таким образом, точку опоры, оправдания для дальнейшего исследования – поглядываю, мол, по сторонам, – Эрвин, все так же небрежно, перевел взгляд на даму. Это была госпожа Отт. От жары кирпичные пятна расплылись по ее несвежему лицу, черные, густые брови шевелились над светлыми, острыми глазами, улыбка поднимала уголки сжатых губ.

– Здравствуйте, – сказала госпожа Отт своим мягким хриловатым голосом. – Пересядьте сюда. Так. Теперь мы можем поболтать. Как ваши дела?

– Всего пять, – смущенно ответил Эрвин.

– Превосходно. Нечетное число. Я вам посоветовала бы на этом и остановиться. А в полночь... Да, я, кажется, вам еще не сказала... В полночь придете на улицу Гофмана – знаете, где это? Там отыщете номер тринадцатый. Небольшая вилла с садиком. Там вас будут ждать ваши избранницы. Я же встречу вас у калитки, – но, разумеется, – добавила она с тонкой улыбкой, – я мешать вам не буду... Адрес запомните?

– Вот что, – сказал Эрвин, набравшись храбрости, – пожалуйста, пускай они будут в тех же платьях, и пускай они будут сразу очень веселые, очень ласковые...

– Ну, разумеется, – ответила госпожа Отт. – Все будет именно так, как вы желаете. Иначе не стоило затевать эту историю, не правда ли? А признайтесь, милый Эрвин, что вы чуть-чуть и меня не отметили для вашего гарема? Ах, нет, не бойтесь, – я же отлично знаю... Я просто шучу... Вам нужно выходить? Домой? Да, это правильно. Пять – число нечетное. Лучше держитесь за него. Итак, – до полночи.

Эрвин, не глядя по сторонам, вернулся к себе, разулся и со вздохом удовлетворения растянулся на постели. Проснулся он под вечер. Свет на дворе был ровнее; невдалеке медовым тенором заливался соседский граммофон.

– Первая – девушка со щенком, – стал вспоминать Эрвин – это самая простенькая. Я, кажется, поспешил. Ну, все равно. Затем – две сестры у трамвайного столба. Веселые, подкрашенные. С ними будет приятно. Затем – четвертая – с розой, похожая на мальчишку. Это совсем хорошо. И наконец: девица в ресторане. Тоже ничего. Но всего только пять – маловато.

Он полежал, закинув руки под затылок, послушал граммофонный тенор.

– Пять... Нет, маловато. Ах, всякие еще бывают... Удивительные...

И Эрвин вдруг не выдержал. Он, торопясь, привел свой костюм в порядок, прилизал волосы и, волнуясь, вышел на улицу.

Часам к девяти он набрал еще двух. Одну он заметил в кафе: она говорила со своим спутником на незнакомом языке – по-польски или по-русски, – и глаза у нее были серые, чуть раскосые, нос тонкий, с горбинкой, морщился, когда она смеялась, стройные нарядные ноги были видны до колен. Пока Эрвин искоса смотрел на нее, она в свою шелестящую речь вставила случайную немецкую фразу, – и Эрвин понял, что это знак. Другую женщину, седьмую по счету, он встретил у китайских ворот увеселительного парка. На ней была красная кофточка и зеленая юбка, ее голая шея вздувалась от игривого визга. Двое грубых, жизнерадостных юношей хватили ее за бока, и она локтями от них отбивалась.

– Хорошо, – я согласна! – крикнула она наконец.

В увеселительном парке разноцветным огнем играли слоеные фонарики. Вагонетка с

воплем мчалась вниз по извилистому желобу, пропадала меж кривых средневековых декораций и опять ныряла в бездну с тем же истошным воплем. В небольшом сарае, на четырех велосипедных седлах – колес не было, только рама, педали и руль – сидели верхом четыре женщины в коротких штанах – красная, синяя, зеленая, желтая – и всю работали голыми ногами. Над ними был большой циферблат, по нему двигались четыре стрелки – красная, синяя, зеленая, желтая, – и сперва эти стрелки шли тесным разноцветным пучком, потом одна подалась вперед, другая обогнала ее, третья тугими толчками перегнала обеих. Рядом стоял человек со свистком.

Эрвин поглядел на сильные голые ноги женщин, на гибко согнутые спины, на разгоряченные лица с яркими губами, с синими крашеными ресницами. Одна из стрелок уже кончила круг... еще толчок... еще...

“Они, наверное, хорошо пляшут, – покусывая губу, подумал Эрвин. – Мне бы всех четырех”.

– Есть! – крикнул человек со свистком, – и женщины разогнулись, посмотрели на циферблат, на стрелку, пришедшую первой.

Эрвин выпил пива в расписном павильоне, поглядел на часы и медленно направился к выходу.

– Одиннадцать часов и одиннадцать женщин. Пора остановиться.

Он прищурился, воображая предстоящее наслаждение, и с удовольствием подумал, что нынче белье на нем – чистое.

– Моя госпожа Отт, небось, будет подглядывать, – усмехнулся он про себя. – Ну, что ж, ничего. Это будет, так сказать, перец...

Он шел, глядя себе под ноги, изредка только проверяя названия улиц. Он знал, что улица Гофмана далеко, за Кайзердаммом, но оставалось около часу, можно было не очень торопиться. Опять, как вчера, небо кишело звездами, и блестел асфальт, как гладкая вода, отражая, удлинняя, впитывая в себя волшебные огни города. На углу, где свет кинематографа обливал тротуар, Эрвин услышал короткий раскат детского смеха и, подняв глаза, увидел перед собой высокого старика в смокинге и девочку, шедшую рядом, – девочку лет четырнадцати в темном нарядном платье, очень открытом на груди. Старика весь город знал по портретам. Это был знаменитый поэт, дряхлый лебедь, одиноко живший на окраине. Он ступал с какой-то тяжелой грацией, волосы, цвета грязной ваты, спадали на уши из-под мягкой шляпы, играл огонек посреди крахмального выреза на груди, и от длинного костистого носа теневое пятно косо падало на тонкие губы. И взгляд Эрвина, дрогнув, перешел на лицо девочки, семенившей рядом, – что-то было в этом лице странное, странно скользнули ее слишком блестящие глаза – и если б это была не девочка – внучка, верно старика, – можно было подумать, что губы ее тронуты кармином. Она шла, едва-едва поводя бедрами, тесно передвигая ноги, она что-то звонко спрашивала у своего спутника, – и Эрвин ничего мысленно не приказал, но вдруг почувствовал, что его тайное мгновенное желание исполнено.

– Ну, конечно, конечно, – вкрадчиво отвечал старик, наклоняясь к девочке.

Они прошли. Пахнуло духами. Эрвин обернулся, затем продолжал свой путь.

“Однако, – вдруг спохватился он. – Двенадцать – число четное. Нужно еще одну, и нужно успеть до полночи...”

Ему было досадно, что приходится еще искать, – и вместе с тем приятно, что есть еще одна возможность.

“По дороге найду, – успокаивал он себя. – Несомненно найду...”

– Может быть, это будет лучшая из всех, – вслух сказал он и стал зорко всматриваться в блестящую темноту.

И вскоре он ощутил знакомое сладкое сжатие, холодок под ложечкой. Перед ним быстро и легко шла женщина. Он видел ее только со спины, – он не мог бы объяснить, что именно так взволновало его, отчего с такой мучительной жадностью ему захотелось ее обогнать, заглянуть ей в лицо. Можно было бы, конечно, случайными словами описать ее походку, движение плеч, очерк шляпы – но стоит ли? Что-то вне зримых очертаний, какой-то особый воздух, воздушное волнение, – влекло за собой Эрвина. Он шел быстро, но все же не мог поравняться с ней, в глазах мелькал влажный блеск ночных отражений, женщина шла ровно и легко, и ее черная тень вдруг взмахивала, попав в царство фонаря, и, взмахнув,

скользила по стене, перегибалась на выступе, пропадала на перекрестке.

– Боже мой, но ведь мне нужно видеть ее лицо, – волновался Эрвин. – И время идет.

Но потом он о времени забыл. Эта странная, молчаливая погоня по ночным улицам опьянила его. Он ускорил шаг, обогнал, далеко перегнал женщину, но из робости не посмел оглянуться, – только опять замедлил шаг, и она, в свой черед, его перегнала, да так быстро, что он не успел разглядеть. Снова он шел в десяти шагах за ней, – и уже знал, несмотря на то, что лица ее не видел, что это есть лучшая его избранница. Улица горела, прерывалась темнотой, снова горела, разливалась блестящей черной площадью, – и снова женщина легким толчком каблука ступала на панель, – и Эрвин за ней, растерянный, бесплотный, опьяненный туманом огней, ночной прохладой, погоней...

И опять он перегнал ее, и, опять оробев, не сразу повернул голову, и она прошла дальше, и он, отделившись от стены, понесся следом, держа шляпу в левой руке и взволнованно болтая правой.

Не походка, не облик ее... Что-то другое, очаровательное и властное, какое-то напряженное мерцание воздуха вокруг нее, – быть может, только фантазия, трепет, восторг фантазии, – а быть может, то, что меняет одним божественным взмахом всю жизнь человека, – Эрвин ничего не знал, – только шел по тротуару, ставшему тоже как бы бесплотным в ночной блестящей темноте, только смотрел на ту, которая быстро, легко и ровно шла перед ним.

И вдруг деревья, весенние липы, присоединились к погоне, – они шли и шушукались, с боков, сверху, повсюду; черные сердечки их теней переплетались у подножия фонаря; их нежный липкий запах подбодрял, подталкивал.

В третий раз Эрвин стал приближаться. Еще шаг... Еще. Сейчас обгонит. Он был уже совсем близко, когда внезапно женщина остановилась у чугунной калитки и звякнула связкой ключей. Эрвин, с разбега, едва не наскочил на нее. Она повернула к нему лицо, и при свете фонаря он узнал ту, которая утром, в солнечном сквере, играла со щенком, – и сразу вспомнил, сразу понял, всю ее прелесть, теплоту, драгоценное сияние. Он стоял и смотрел на нее, страдальчески улыбаясь.

– Как вам не стыдно... – сказала она тихо. – Подите прочь.

Калитка открылась и с грохотом хлопнула. Эрвин остался один под умолкшими липами. Постоял, затем надел шляпу и медленно отошел. Пройдя несколько шагов, он увидел два огненных пузыря, – открытый автомобиль, стоящий у панели. Он подошел, тронул за плечо неподвижного шофера.

– Скажите, какая это улица, – я заблудился.

– Улица Гофмана, – сухо ответил шофер.

И тогда знакомый, мягкий, хрипловатый голос раздался из глубины автомобиля:

– Здравствуйте, это я.

Эрвин оперся ладонью о край дверцы, вяло ответил:

– Здравствуйте.

– Я скучаю, – сказал голос. – Жду здесь моего приятеля. Мы с ним должны отправиться на рассвете. Как вы поживаете?

– Чет, – усмехнулся Эрвин, поводя пальцем по пыльной дверце.

– Знаю, знаю, – равнодушно ответила госпожа Отт. – Тринадцатая оказалась первой. Да, у вас это дело не вышло.

– Жалко, – сказал Эрвин.

– Жалко, – отозвалась госпожа Отт.

– Впрочем, все равно, – сказал Эрвин.

– Все равно, – подтвердила она и зевнула.

Эрвин поклонился, поцеловал ее большую черную перчатку, набитую пятью растопыренными пальцами и, кашлянув, повернул в темноту. Он шагал тяжело, ныли уставшие ноги, угнетала мысль, что завтра понедельник и что вставать будет трудно.

6. РОЖДЕСТВО

Вернувшись по вечеряющим снегам из села в свою мызу, Слепцов сел в угол, на низкий плюшевый стул, на котором он не сживал никогда. Так бывает после больших несчастий. Не брат родной, а случайный неприметный знакомый, с которым в обычное время ты и двух слов не скажешь, именно он толково, ласково поддерживает тебя, подает оброненную шляпу, – когда все кончено, и ты, пошатываясь, стучишь зубами, ничего не видишь от слез. С мебелью – то же самое. Во всякой комнате, даже очень уютной и до смешного маленькой, есть нежилой угол. Именно в такой угол и сел Слепцов.

Флигель соединен был деревянной галереей – теперь загроможденной сугробом – с главным домом, где жили летом. Незачем было будить, согреть его, хозяин приехал из Петербурга всего на несколько дней и поселился в смежном флигеле, где белые изразцовые печки истопить – дело легкое.

В углу, на плюшевом стуле, хозяин сидел, словно в приемной у доктора. Комната плавала во тьме, в окно, сквозь стеклянные перья мороза, густо синел ранний вечер. Иван, тихий, тучный слуга, недавно сбривший себе усы, внес заправленную, керосиновым огнем налитую, лампу, поставил на стол и беззвучно опустил на нее шелковую клетку: розовый абажур. На мгновение в наклоненном зеркале отразилось его освещенное ухо и седой еж. Потом он вышел, мягко скрипнув дверью.

Тогда Слепцов поднял руку с колена, медленно на нее посмотрел. Между пальцев к тонкой складке кожи прилипла застывшая капля воска. Он растопырил пальцы, белая чешуйка треснула.

II

Когда на следующее утро, после ночи, прошедшей в мелких нелепых снах, вовсе не относившихся к его горю, Слепцов вышел на холодную веранду, так весело выстрелила под ногой половица, и на беленую лавку легли райскими ромбами отраженья цветных стекол. Дверь поддалась не сразу, затем сладко хряснула, и в лицо ударил блистательный мороз. Песком, будто рыжей корицей, усыпан был ледок, облепивший ступени крыльца, а с выступа крыши, остриями вниз, свисали толстые сосули, сквозящие зеленоватой синевой. Сугробы подступали к самым окнам флигеля, плотно держали в морозных тисках оглушенное деревянное строенье. Перед крыльцом чуть вздувались над гладким снегом белые купола клумб, а дальше сиял высокий парк, где каждый черный сучок окаймлен был серебром, и елки поджимали зеленые лапы под пухлым и сверкающим грузом.

Слепцов, в высоких валенках, в полушубке с каракулевым воротником, тихо зашагал по прямой, единственной расчищенной тропе в эту слепительную глубь. Он удивлялся, что еще жив, что может чувствовать, как блестит снег, как ноют от мороза передние зубы. Он заметил даже, что оснеженный куст похож на застывший фонтан, и что на склоне сугроба – песьи следы, шафранные пятна, прожегшие наст. Немного дальше торчали столбы мостика, и тут Слепцов остановился. Горько, гневно столкнулся с перил толстый пушистый слой. Он сразу вспомнил, каким был этот мост летом. По склизким доскам, усеянным сержками, проходил его сын, ловким взмахом сачка срывал бабочку, севшую на перила. Вот он увидел отца. Неповторимым смехом играет лицо под загнутым краем потемневшей от солнца соломенной шляпы, рука тербит цепочку и кожаный кошелек на широком поясе, весело расставлены милые, гладкие, коричневые ноги в коротких саржевых штанах, в промокших сандалиях. Совсем недавно, в Петербурге, – радостно, жадно поговорив в бреду о школе, о велосипеде, о какой-то индийской бабочке, – он умер, и вчера Слепцов перевез тяжелый, словно всю жизнь наполненный гроб, в деревню, в маленький белокаменный склеп близ сельской церкви.

Было тихо, как бывает тихо только в погожий, морозный день. Слепцов, высоко подняв ногу, свернул с тропы и, оставляя за собой в снегу синие ямы, пробрался между стволов удивительно светлых деревьев к тому месту, где парк обрывался к реке. Далеко внизу, на белой глади, у проруби, горели вырезанные льды, а на том берегу, над снежными крышами изб, поднимались тихо и прямо розоватые струи дыма. Слепцов снял каракулевый колпак,

прислонился к стволу. Где-то очень далеко кололи дрова, – каждый удар звонко отпрыгивал в небо, – а над белыми крышами придавленных изб, за легким серебряным туманом деревьев, слепо сиял церковный крест.

III

После обеда он поехал туда, – в старых санях с высокой прямой спинкой. На морозе туго хлопала селезенка вороного мерина, белые веера проплывали над самой шапкой, и спереди серебряной голубизной лоснились колеи. Приехав, он просидел около часу у могильной ограды, положив тяжелую руку в шерстяной перчатке на обжигающий сквозь шерсть чугун, и вернулся домой с чувством легкого разочарования, словно там, на погосте, он был еще дальше от сына, чем здесь, где под снегом хранились летние неисчислимые следы его быстрых сандалий.

Вечером, сурово затосковав, он велел отпереть большой дом. Когда дверь с тяжелым рыданием раскрылась и пахло каким-то особенным, незимним холодком из гулких железных сеней, Слепцов взял из рук сторожа лампу с жестяным рефлектором и вошел в дом один. Паркетные, полы тревожно затрещали под его шагами. Комната за комнатой заполнялись желтым светом; мебель в саванах казалась незнакомой; вместо люстры висел с потолка незвонящий мешок, – и громадная тень Слепцова, медленно вытягивая руку, проплывала по стене, по серым квадратам занавешенных картин.

Войдя в комнату, где летом жил его сын, он поставил лампу на подоконник и наполовину отвернул, ломая себе ногти, белые створчатые ставни, хотя все равно за окном была уже ночь. В темно-синем стекле загорелось желтое пламя – чуть коптящая лампа, – и скользнуло его большое, бородастое лицо.

Он сел у голого письменного стола, строго, исподлобья, оглядел бледные в синеватых розах стены, узкий шкаф вроде конторского, с выдвигаемыми ящиками снизу доверху, диван и кресла в чехлах, – и вдруг, уронив голову на стол, страстно и шумно затрясся, прижимая то губы, то мокрую щеку к холодному пыльному дереву и цепляясь руками за крайние углы.

В столе он нашел тетради, расправилки, коробку из-под английских бисквитов с крупным индийским коконом, стоившим три рубля. О нем сын вспоминал, когда болел, жалел, что оставил, но утешал себя тем, что куколка в нем, вероятно, мертвая. Нашел он и порванный сачок – кисейный мешок на складном обруче, и от кисеи еще пахло летом, травяным зноем.

Потом, горбясь, всхлипывая всем корпусом, он принялся выдвигать один за другим стеклянные ящики шкафа. При тусклом свете лампы шелком отливали под стеклом ровные ряды бабочек. Тут, в этой комнате, вон на этом столе, сын расправлял свою поимку, пробиравал мохнатую спинку черной булавкой, втыкал бабочку в пробковую щель меж раздвижных дощечек, распластывал, закреплял полосами бумаги еще свежие, мягкие крылья. Теперь они давно высохли – нежно поблескивают под стеклом хвостатые махаоны, небесно-лазурные мотыльки, рыжие крупные бабочки в черных крапинках, с перламутровым исподом. И сын произносил латынь их названий слегка картаво, с торжеством или пренебрежением.

IV

Ночь была сизая, лунная; тонкие тучи, как совиные перья, рассыпались по небу, но не касались легкой ледяной луны. Деревья – груды серого инея – отбрасывали черную тень на сугробы, загоравшиеся там и сям металлической искрой. Во флигеле, в жарко натопленной плюшевой гостиной, Иван поставил на стол аршинную елку в глиняном горшке и как раз подвязывал к ее крестообразной макушке свечу, – когда Слепцов, озябший, заплаканный, с пятнами темной пыли, приставшей к щеке, пришел из большого дома, неся деревянный ящик под мышкой. Увидя на столе елку, он спросил рассеянно, думая о своем:

– Зачем это?

Иван, освобождая его от ящика, низким круглым голосом ответил:

– Праздничек завтра.

– Не надо, – уברי... – поморщился Слепцов, и сам подумал: “Неужто сегодня Со-чельник? Как это я забыл?”

Иван мягко настаивал:

– Зеленая. Пускай постоит...

– Пожалуйста, уברי, – повторил Слепцов и нагнулся над принесенным ящиком. В нем он собрал вещи сына – сачок, бисквитную коробку с каменным коконом, расправилки, булавки в лаковой шкатулке, синюю тетрадь. Первый лист тетради был наполовину вырван, на торчавшем клочке осталась часть французской диктовки. Дальше шла запись по дням, названия пойманных бабочек и другие заметы: “Ходил по болоту до Боровичей...”, “Сегодня идет дождь, играл в шашки с папой, потом читал скучнейшую “Фрегат Палладу”, “Чудный жаркий день. Вечером ездил на велосипеде. В глаз попала мошка. Проезжал, нарочно два раза, мимо ее дачи, но ее не видел...”

Слепцов поднял голову, проглотил что-то – горячее, огромное. О ком это сын пишет?

“Ездил, как всегда, на велосипеде”, стояло дальше. “Мы почти переглянулись. Моя прелесть, моя радость...”

– Это невысказано, – прошептал Слепцов, – я ведь никогда не узнаю...

Он опять наклонился, жадно разбирая детский почерк, поднимающийся, заворачивающийся на полях.

“Сегодня – первый экземпляр траурницы. Это значит – осень. Вечером шел дождь. Она, вероятно, уехала, а я с нею так и не познакомился. Прощай, моя радость. Я ужасно тоскую...”

“Он ничего не говорил мне...” – вспоминал Слепцов, потирая ладонью лоб.

А на последней странице был рисунок пером: слон – как видишь его сзади, – две толстые тумбы, углы ушей и хвостик.

Слепцов встал. Затряс головой, удерживая приступ страшных сухих рыданий.

– Я больше не могу... – простонал он, растягивая слова, и повторил еще протяжнее: – не – могу – больше...

“Завтра Рождество, – скороговоркой пронеслось у него в голове. – А я умру. Конечно. Это так просто. Сегодня же...”

Он вытащил платок, вытер глаза, бороду, щеки. На платке остались темные полосы.

–...Смерть, – тихо сказал Слепцов, как бы кончая длинное предложение.

Тикали часы. На синем стекле окна теснились узоры мороза. Открытая тетрадь сияла на столе, рядом сквозила светом кисея сачка, блестел жестяной угол коробки. Слепцов зажмурился, и на мгновение ему показалось, что до конца понятна, до конца обнажена земная жизнь – горестная до ужаса, унижительно бесцельная, бесплодная, лишенная чудес...

И в то же мгновение щелкнуло что-то – тонкий звук – как будто лопнула натянутая резина. Слепцов открыл глаза и увидел: в бисквитной коробке торчит прорванный кокон, а по стене, над столом, быстро ползет вверх черное сморщенное существо величиной с мышь. Оно остановилось, вцепившись шестью черными мохнатыми лапками в стену, и стало странно трепетать. Оно вылупилось оттого, что изнемогающий от горя человек перенес жестяную коробку к себе, в теплую комнату, оно вырвалось оттого, что сквозь тугий шелк кокона проникло тепло, оно так долго ожидало этого, так напряженно набиралось сил и вот теперь, вырвавшись, медленно и чудесно росло. Медленно разворачивались смятые лоскутки, бархатные бахромки, крепи, наливаясь воздухом, веерные жилы. Оно стало крылатым незаметно, как незаметно становится прекрасным мужающее лицо. И крылья – еще слабые, еще влажные – все продолжали расти, расправляться, вот развернулись до предела, положенного им Богом, – и на стене уже была – вместо комочка, вместо черной мыши, – громадная ночная бабочка, индийский шелкопряд, что летает, как птица, в сумраке, вокруг фонарей Бомбея.

И тогда простертые крылья, загнутые на концах, темно-бархатные, с четырьмя слюдяными оконцами, вздохнули в порыве нежного, восхитительного, почти человеческого счастья.

7. ГРОЗА

На углу, под шатром цветущей липы, обдало меня буйным благоуханием. Туманные громады поднимались по ночному небу, и когда поглощен был последний звездный просвет, слепой ветер, закрыв лицо рукавами, низко пронесся вдоль опустевшей улицы. В тусклой темноте, над железным ставнем парикмахерской, маятником заходил висячий щит, золотое блюдо.

Вернувшись домой, я застал ветер уже в комнате: – он хлопнул оконной рамой и поспешно отхлынул, когда я прикрыл за собою дверь. Внизу, под окном, был глубокий двор, где днем сияли, сквозь кусты сирени, рубашки, распятые на светлых веревках, и откуда взлетали порой, печальным лаем, голоса, – старьевщиков, закупателей пустых бутылок, – нет-нет, – разрыдается искалеченная скрипка; и однажды пришла тучная белокурая женщина, стала посреди двора, да так хорошо запела, что из всех окон свесились горничные, нагнулись голые шеи, – и потом, когда женщина кончила петь, стало необыкновенно тихо, – только в коридоре всхлипывала и сморкалась неопрятная вдова, у которой я снимал комнату.

А теперь там внизу набухала душная мгла, – но вот слепой ветер, что беспомощно сполз в глубину, снова потянулся вверх, – и вдруг – прозрел, взмыл, и в янтарных провалах в черной стене напротив заметались тени рук, волос, ловили улетающие рамы, звонко и крепко запирали окна. Окна погасли. И тотчас же в темно-лиловом небе тронулась, покати́лась глухая гряда, отдаленный гром. И стало тихо, как тогда, когда замолкла нищая, прижав руки к полной груди.

В этой тишине я заснул, ослабев от счастья, о котором писать не умею, – и сон мой был полон тобой.

Проснулся я оттого, что ночь рушилась. Дикое, бледное блистание летало по небу, как быстрый ответ исполинских спиц. Грохот за грохотом ломал небо. Широко и шумно шел дождь.

Меня опьянили эти синеватые содрогания, легкий и острый холод. Я стал у мокрого подоконника, вдыхая неземной воздух, от которого сердце звенело, как стекло.

Все ближе, все великолепно гремела по облакам колесница пророка. Светом сумасшествия, пронзительных видений, озарен был ночной мир, железные склоны крыш, бегущие кусты сирени. Громовержец, седой исполин, с бурной бородою, закинутой ветром за плечо, в ослепительном, летучем облачении, стоял, подавшись назад, на огненной колеснице и напряженными руками сдерживал гигантских коней своих: – вороная масть, гривы – фиолетовый пожар. Они понесли, они брызгали трескучей искристой пеной, колесница кренилась, тщетно рвал вожжи растерянный пророк. Лицо его было искажено ветром и напряжением, вихрь, откинув складки, обнажил могучее колено, – а кони, взмахивая пылающими гривами, летели – все буйственнее – вниз по тучам, вниз. Вот громовым шепотом промчались они по блестящей крыше, колесницу шарахнуло, зашатался Илья, – и кони, обезумев от прикосновения земного металла, снова вспрыгнули. Пророк был сброшен. Одно колесо отшибло. Я видел из своего окна, как покати́лся вниз по крыше громадный огненный обод и, покачнувшись на краю, прыгнул в сумрак. А кони, влача за собою опрокинутую, прыгающую колесницу, уже летели по вышним тучам, гул умолкал, и вот – грозовой огонь исчез в лиловых безднах.

Громовержец, павший на крышу, грузно встал, плесницы его заскользили, – он ногой пробил слуховое окошко, охнул, широким движением руки удержался за трубу. Медленно поворачивая потемневшее лицо, он что-то искал глазами, – верно колесо, соскочившее с золотой оси. Потом глянул вверх, вцепившись пальцами в растрепанную бороду, сердито покачал головой, – это случалось вероятно не впервые, – и, прихрамывая, стал осторожно спускаться.

Оторвавшись от окна, спеша и волнуясь, я накинул халат и сбежал по крутой лестнице прямо во двор. Гроза отлетела, но еще веял дождь. Восток дивно бледнел.

Двор, что сверху казался налитым густым сумраком, был на самом деле полон тонким тающим туманом. Посередине, на тусклом от сырости газоне, стоял сутулый, тощий старик

в промокшей рясе и бормотал что-то, посматривая по сторонам. Заметив меня, он сердито моргнул:

– Ты, Елисей?

Я поклонился. Пророк цокнул языком, потирая ладонью смуглую лысину:

– Колесо потерял. Отыщи-ка.

Дождь перестал. Над крышами пылали громадные облака. Кругом, в синеватом, сонном воздухе, плавали кусты, забор, блестящая собачья конура. Долго шарили мы по углам, – старик кряхтел, подхватывал тяжелый подол, шлепал тупыми сандалиями по лужам, и с кончика крупного костистого носа свисала светлая капля. Отодвинув низкую ветку сирени, я заметил на куче сору, среди битого стекла, тонкое железное колесо, – видимо от детской коляски. Старик жаркодохнул над самым моим ухом и поспешно, даже грубовато отстранив меня, схватил и поднял ржавый круг. Радостно подмигнул мне:

– Вот куда закатилось...

Потом на меня уставился, сдвинув седые брови, – и, словно что-то вспомнив, внушительно сказал:

– Отвернись, Елисей.

Я послушался. Даже зажмурился. Постоял так с минуту, – и дольше не выдержал...

Пустой двор. Только старая лохматая собака с поседелой мордой вытянулась из конуры и, как человек, глядела вверх испуганными карими глазами. Я поднял голову. Илья карабкался вверх по крыше, и железный обод поблескивал у него за спиной. Над черными трубами оранжевой кудрявой горой стояло заревое облако, за ним второе, третье. Мы глядели вместе с притихшей собакой, как пророк, поднявшись до гребня крыши, спокойно и неторопливо перебрался на облако и стал лезть вверх, тяжело ступая по рыхлому огню.

Солнце стрельнуло в его колесо, и оно сразу стало золотым, громадным, – да и сам Илья казался теперь облаченным в пламя, сливаясь с той райской тучей, по которой он шел все выше, все выше, пока не исчез в пылающем воздушном ущелье.

Только тогда хриплым утренним лаем залился дряхлый пес, – и хлынула рябь по яркой глади дождевой лужи; от легкого ветра колыхнулась пунцовая герань на балконах, проснулись два-три окна, – и в промокших клетчатых туфлях, в блеклом халате я выбежал на улицу и, догоняя первый, сонный трамвай, запахивая полы на бегу, все посмеивался, воображая, как сейчас приду к тебе и буду рассказывать о ночном, воздушном крушении, о старом, сердитом пророке, упавшем ко мне во двор.

8. БАХМАН

Не так давно промелькнуло в газетах известие, что в швейцарском городке Мариваль, в приюте св. Анжелики, умер, миром забытый, славный пианист и композитор Бахман. Я вспомнил по этому поводу рассказ о женщине, любившей его, переданный мне антрепренером Заком. Вот этот рассказ.

Госпожа Перова познакомилась с Бахманом лет за десять до его смерти. В те дни золотой, глубокий, сумасшедший трепет его игры запечатлевался уже на воске, а заживо звучал в знаменитейших концертных залах. И вот, однажды вечером, – в один из тех осенних прозрачно-синих вечеров, когда больше боишься старости, нежели смерти, – Перова получила от приятельницы записку: “Я хочу показать тебе Бахмана. Сегодня после концерта он будет у меня. Приходи”.

Я особенно ясно представляю себе, как надела она черное, открытое платье, быстрым движением надушила себе шею и плечи, взяла веер, трость с бирюзовым набалдашником, и посмотревшись напоследок в тройную бездну трюмо, задумалась и оставалась задумчивой всю дорогу от дома своего до дома подруги. Она знала, что некрасива, не в меру худа, что бледность ее кожи болезненна, – но эта стареющая женщина с лицом неудавшейся мадонны была привлекательна именно тем, чего больше всего стыдилась, – бледностью губ и едва заметной хромотой, заставлявшей ее всегда ходить с тростью. Муж ее, страстный и острый делец, был в отъезде. Лично господин Зак его не знал.

Когда Перова вошла в небольшую, фиолетовым светом залитую гостиную, где тяжело

перепархивала от гостя к гостю ее приятельница, тучная, шумливая дама в аметистовой диадеме, – ее внимание тотчас же привлек высокий, бритый, слегка напудренный господин, который стоял, облокотившись на выступ рояля, и что-то рассказывал трем дамам, подошедшим к нему. Хвосты его фрака были на добротной, особенно пухлой, шелковой подкладке, и разговаривая он то и дело откидывал темные, маслянистые волосы, раздувая при этом крылья носа, – бледного, с довольно изящной горбинкой. Во всей его фигуре было что-то благосклонное, блистательное и неприятное.

– Акустика ужасная! – говорил он, дергая плечом, – а публика вся сплошь простужена. Не дай Бог кому-нибудь кашлянуть, моментально несколько человек подхватят, и поехали... – Он улыбнулся, откидывая волосы. – Это, знаете, как ночью, в деревне, собаки.

Перова подошла, легко опираясь на трость, и сказала первое, что пришло ей в голову:

– Вы, наверно, устали, господин Бахман, после вашего концерта?

Он поклонился, очень польщенный:

– Маленькая ошибка, мадам. Моя фамилия – Зак. Я только импрессарио нашего маэстро.

Все три дамы рассмеялись. Перова смутилась и рассмеялась тоже. Об удивительной игре Бахмана она знала только понаслышке и портрета его не видала. В эту минуту к ней хлынула хозяйка, обняла и таинственно, одним движеньем глаз, указав в глубину комнаты, шепнула:

– Вот он... посмотри...

И только тогда она увидела Бахмана. Он стоял в стороне от остальных гостей и, расставя короткие ноги в мешковатых черных штанах, читал газету, придвинув к самым глазам мятый лист и шевеля губами, как это делают при чтении полуграмотные. Был он низкого роста, плешивый, со скромным зачесом поперек темени, в отложном крахмальном воротничке, слишком для него широком. Не отрываясь от газеты, он рассеянно проверил одним пальцем ту часть мужской одежды, которая у портных зовется гульфик, и зашевелил губами еще внимательнее. Был у него очень смешной, маленький, круглый подбородок, похожий на морского ежа.

– Не удивляйтесь, – сказал Зак. – Он в буквальном смысле неуч: как придет в гости, так сразу берет что-нибудь и читает.

Бахман вдруг почувствовал, что все смотрят на него. Он медленно повернул лицо и, подняв растрепанные брови, улыбнулся чудесной, робкой улыбкой, от которой по всему лицу разбежались мягкие морщинки. Хозяйка поспешила к нему:

– Мсье Бахман, позвольте вам презентовать еще одну из ваших поклонниц, – госпожу Перову.

Он сунул ей свою бескостную, сыроватую руку:

– Очень приятно, очень даже приятно...

И опять уткнулся в газету.

Перова отошла. Розоватые пятна выступили у нее на скулах. От радостного движения черного, блестящего стеклярусом веера затрепетали светлые завитки на висках. Зак мне потом рассказывал, что в тот первый вечер она произвела на него впечатление необыкновенно темпераментной, – как он выразился, – необыкновенно издерганной женщины, даром, что губы и прическа были у нее такие строгие.

– Эти двое друг друга стоили, – передавал он мне со вздохом. – Бахман-то, и говорить нечего, совершенно был лишен мозгов. А главное – пил, знаете. В тот вечер, когда они встретились, мне пришлось быстро, – прямо-таки на крыльях, – увести его, так как он вдруг потребовал коньяку, – а ему нельзя было, нельзя было. Мы же просили его: пять дней не пей, только пять дней, – т. е. пять концертов, вы понимаете... Ангажемент, Бахман, держись... Что вы думаете, ведь даже какой-то поэт в юмористическом журнале срифмовал “Устойки” и “Неустойки”. Мы буквально из сил выбивались. И притом – капризный, знаете, фантастичный, грязненький. Совершенно ненормальный субъект. Но играл...

И Зак молча закатывал глаза, тряся поредевшей гривой.

Просматривая с господином Заком тяжелый, как гроб, альбом газетных вырезок, я убедился, что именно тогда, во дни первых встреч Бахмана с Перовой, началась настоящая, мировая, – но какая короткая – слава этого удивительного человека. Когда и где Перова со-

шла с ним, – этого никто не знает. Но после вечера у приятельницы Перова стала бывать на всех концертах Бахмана, в каком бы городе они ни давались. Сидела она всегда в первом ряду, прямая, гладко причесанная, в черном, открытом платье. Некоторые ее называли так: хромая мадонна.

Бахман выходил на эстраду быстро, – как будто вырвавшись из вражеских или просто надоедливых рук. Не глядя на публику, он подбегал к роялю и, нагнувшись над круглым стулом, принимался нежно вращать деревянный диск сиденья, отыскивая какую-то математическую точку высоты. При этом он убедительно и тихо ворковал, усовещевая стул на трех языках. Возился он так довольно долго. В Англии это умиляло публику, во Франции смешило, в Германии – раздражало. Найдя точку, Бахман легонько и ласково хлопал ладонью по стулу, – и садился, нашаривая педали подошвами старых лакированных туфель. Потом доставал просторный несвежий платок и, тщательно вытирая им руки, оглядывал с лукавой и вместе с тем робкой улыбкой первый ряд. Наконец, он мягко опускал руки на клавиши. Но вдруг вздрагивал страдальческий живчик под глазом: цокнув языком, он сползал со стула и снова принимался вращать нежно скрипящее сиденье.

Зак думает, что, в первый раз прослушав Бахмана и вернувшись к себе домой, Перова села у окна и просидела так до зари, вздыхая и улыбаясь. Он уверяет, что еще никогда Бахман так хорошо, так безумно не играл, и что потом, с каждым разом, он играл все лучше и все безумнее. С несравненным искусством Бахман скликал и разрешал голоса контрапункта, вызывал диссонирующими аккордами впечатление дивных гармоний и – в тройной фуге – преследовал тему, изящно и страстно с нею играя, как кот с мышью, – притворялся, что выпустил ее, и вдруг, с хитрой улыбкой нагнувшись над клавишами, настигал ее ликующим ударом рук. Потом, когда его ангажемент в том городе кончился, он, как всегда, на несколько дней исчез, запил.

Посетители сомнительных кабачков, ядовито пылавших в тумане угрюмого предместья, видели плотного низенького господина с растрепанной плешью и глазами, мокрыми, розовыми, как язвы, который садился всегда в сторонку, но охотно угощал всякого, кто пристанет к нему. Старичок-настройщик, давно погибший человек, несколько раз выпив с ним, решил, что это брат по ремеслу, ибо Бахман, опьянев, барабанил пальцем по столу и тонким голосом брал очень точное “ля”. Случалось, что скуластая деловитая проститутка уводила его к себе. Случалось, что он вырывал у кабацкого скрипача инструмент, топтал его и был за это бит. Знакомился он с картежниками, матросами, атлетами, нажившими себе грыжу, – а также с цехом тихих, учтивых воров.

Ночами напролет Зак и Перова его разыскивали. Впрочем Зак искал только тогда, когда нужно было “завинтить” его, – т. е. приготовить к концерту. Иногда находили, иногда же, ослотивший, грязный, без воротника, он сам являлся к Перовой; она молча и ласково укладывала его спать и только через два-три дня звонила Заку, что Бахман найден.

В нем сочеталась какая-то неземная робость с озорством испорченного ребенка. С Перовой он почти не говорил. Когда она увещевала его, брала за руки, он вырывался, хлопал ее по пальцам, пискливо вскрикивая, словно легчайшее прикосновение причиняло ему раздражительную боль, и потом долго плакал, накрывшись одеялом. Появлялся Зак, говорил: надо ехать в Лондон, в Рим, – и Бахмана увозили.

Три года продолжалась их странная связь. Когда Бахмана, кое-как освеженного, подавали публике, Перова неизменно сидела в первом ряду. Во время далеких гастролей они останавливались в смежных номерах. Несколько раз за это время Перова видалась с мужем. Он, конечно, знал, как знали все об ее восторженной и верной страсти, но не мешал, жил своею жизнью.

– Бахман мучил ее, – настойчиво повторял мне господин Зак. – Непонятно, как она могла его любить. Тайна женского сердца! Я видел собственными глазами, как в одном доме, где они были вместе, маэстро вдруг защелкал на нее зубами, как обезьяна, и знаете – за что? Она хотела ему поправить галстук. Но играл он в те дни гениально. К тому времени относится его симфония D-молль и несколько сложных фуг. Никто не видел, как он писал их. Самая интересная – так называемая “Золотая фуга”. Слыхали? Тематизм в ней совершенно своеобразный. Но я говорил об его капризах, об его растущем помешательстве. Ну так вот. Прошло, значит, два года. И вот однажды в Мюнхене, где он выступал...

И Зак, подходя к концу своего рассказа, все печальнее, все внушительнее шурился.

Оказывается, что в ночь приезда в Мюнхен Бахман удрал из гостиницы, где, как обычно, он остановился вместе с Перовой. Через три дня должен был состояться концерт, и потому Зак находился в истерической тревоге. Поиски ни к чему не привели. Дело было поздней осенью, хлестал холодный дождь. Перова простудилась и слегла. Зак с двумя сыщиками продолжал исследовать кабаки.

В день концерта позвонили из полиции, что Бахман найден. Он был ночью подобран на улице и в участке отлично выспался. Зак молча повез его из участка в театр, сдал его там, как вещь, своим помощникам, а сам поехал в гостиницу за фракком. Перовой через дверь он доложил о случившемся. Потом вернулся в театр.

Бахман, надвинув на брови черную фетровую шляпу, сидел в артистической и печально стучал пальцем по столу. Вокруг него суетливо шептались. Через час в огромной зале публика стала занимать места. Светлая белая эстрада, с лепными украшениями по бокам в виде органных труб, и блестящий черный рояль, поднявший крыло, и скромный гриб стула ожидали в торжественной праздности человека с мокрыми мягкими руками, который сейчас наполнит ураганом звуков и рояль, и эстраду, и огромный зал, где, как бледные черви, двигались, лоснились женские плечи и мужские лысины.

И вот Бахман вбежал. Не обратив внимания на грохот приветствий, поднявшийся, как плотный конус, и рассыпавшийся на отдельные потухающие хлопки, он стал вращать, жадно воркуя, деревянный диск стула, и, погладив его, сел за рояль. Вытирая платком руки, он робкой улыбкой окинул первый ряд. Внезапно улыбка исчезла, и Бахман поморщился. Платок упал на пол. Он опять внимательно скользнул глазами по лицам; глаза его споткнулись на пустом месте посередине ряда. Тогда Бахман захлопнул крышку, встал, вышел вперед, к самому краю эстрады, и, закатив глаза, подняв, как балерина, согнутые руки, сделал два-три нелепых па. Публика застыла. В глубине вспыхнул смех. Бахман остановился, что-то проговорил, чего никто не расслышал, и затем, широким дугообразным движением показал всему залу кукиш.

– Это произошло так внезапно, – рассказывал мне Зак, – что я просто не успел прилечь на помощь. Я столкнулся с ним, когда после фиги – фиги вместо фуги – он удалялся со сцены. Я спросил: Бахман, куда? Он сказал нехорошее слово и шмыгнул в артистическую.

Тогда Зак сам вышел на эстраду, – и встречен был бурей гнева и гогота. Он выставил вперед ладонь и, добившись молчания, твердо обещал, что концерт состоится. Когда он вернулся в артистическую, то увидел, что Бахман, как ни в чем не бывало, сидит у стола, и, шевеля губами, читает программку.

Зак, взглянув на присутствующих и значительно поведя бровью, метнулся к телефону и позвонил Перовой. Он долго не мог добиться ответа; наконец что-то щелкнуло, и донесся ее слабый голос.

– Приезжайте сию же минуту, – затараторил Зак, стуча ребром руки по телефонному фолианту, – Бахман без вас не хочет играть. Ужасный скандал! Публика начинает – что вы? – да-да, – я же говорю: не хочет. Алло! А, черт! Разъединили...

У Перовой был сильный жар. Доктор, посетивший ее в этот день дважды, с недоумением смотрел на ртуть, так высоко поднявшуюся по красным ступенькам в горячем стеклянном столбике. Повесив телефонную трубку, – аппарат стоял у постели, – она, вероятно, радостно улыбнулась. Дрожь и покачиваясь, принялась одеваться. Нестерпимо кололо в груди, но сквозь туман и жужжанье жара звала радость. Мне почему-то кажется, что, когда она стала натягивать чулки, шелк цеплялся за ногти ее холодных ног. Кое-как причесавшись, запахнувшись в коричневую шубу, она, звякая тростью, вышла, велела швейцару кликнуть таксомотор. Черный асфальт блестел. Ручка автомобильной дверцы была ледяная и мокрая. Всю дорогу она, верно улыбалась смутной и счастливой улыбкой, – и шум мотора и шипение шин сливались с жарким жужжанием в висках. Когда подъехала к театру, то увидела: толпы людей, открывая на ходу сердитые зонтики, вываливаются на улицу. Ее чуть не сшибли с ног. Протиснулась. В артистической Зак ходил взад и вперед, хватая себя то за левую щеку, то за правую.

– Я был в состоянии бешенства! – рассказывал он мне. – Пока я бился у телефона, маэстро бежал. Сказал, что идет в уборную, и улизнул. Когда Перова приехала, я набросился

на нее, – зачем не сидела в театре. Понимаете, я абсолютно упустил из виду, что она больна. Спрашивает: “Так, значит, он сейчас дома? значит, мы разъехались?” А я был в состоянии бешенства и кричу: “Какое там, черт, дома! В кабаке. В кабаке. В кабаке!” Потом я махнул рукой и убежал. Нужно было спасти кассира.

И Перова, дрожа и улыбаясь, поехала разыскивать Бахмана. Она знала приблизительно, где искать его, и туда-то, в темный, страшный квартал, повез ее удивленный шофер. Доехав до той улицы, где, по словам Зака, накануне нашли Бахмана, она отпустила таксомотор и, постукивая тростью, пошла по шерботой панели, под косыми потоками черного дождя. Заходила она подряд во все кабаки, – взрывы грубой музыки оглушали ее, мужчины к ней нагло поворачивались, – она оглядывала дымное, кружащееся, разноцветное зальце и опять выходила в хлещущую ночь. Вскоре ей стало казаться, что она заходит все в один и тот же кабак, и мучительная слабость легла ей на плечи. Она шла, хромя и чуть слышно мыча, зажав в озябшей руке бирюзовую шишку трости. Полицейский, некоторое время следивший за ней, подошел медленными профессиональными шагами, спросил ее адрес; властно и мягко подвел ее к черному ландо ночного извозчика. В зловонном, ухающем сумраке ландо она потеряла сознание, и, когда очнулась, дверца была открыта, и кучер, в блестящей, клеенчатой накидке, концом кнутовища легонько тыкал ее в плечо. Потом, когда она очутилась в теплом коридоре, ее охватило чувство полного равнодушия ко всему. Она толкнула дверь своего номера, вошла. Бахман, босой, в ночной рубашке под холмом клетчатого одеяла, накинутого на плечи, сидел у нее на постели, и, барабаня двумя пальцами по мраморной доске ночного столика, ставил химическим карандашом точки на листке нотной бумаги. Он был так поглощен этим, что не заметил, как отворилась дверь. Перова испустила легкий, ахающий стон. Бахман встрепенулся. Одеяло поползло с его плеча.

Я думаю, это была единственная счастливая ночь во всей жизни Перовой. Думаю, что эти двое, полоумный музыкант и умирающая женщина, нашли в эту ночь слова, какие не снились величайшим поэтам мира. Когда, на следующее утро, негодующий Зак явился в гостиницу, он нашел Бахмана, глядевшего с восторженной тихой улыбкой на Перову, которая лежала без сознания под клетчатым одеялом поперек широкой постели. Неизвестно о чем думал Бахман, глядя на пылающее лицо подруги и слушая ее судорожное дыхание; вероятно, он понимал по-своему волнение ее тела, трепет и жар болезни, мысль о которой не приходила ему в голову. Зак вызвал доктора. Бахман сперва недоверчиво, с робкой улыбкой глядел на них, потом вцепился доктору в плечо, отбежал, хлопнул себя по лбу и заметался, лязгая зубами. Она умерла в тот же день, не приходя в сознание. Выражение счастья так и не сошло у нее с лица. На ночном столике Зак нашел скомканную страницу нотной бумаги, но фиолетовые точки музыки, рассыпанные по ней, никто не мог разобрать.

– Я увез его сразу, – рассказывал мне Зак, – я боялся приезда мужа, сами понимаете. Бедняга Бахман, он был, как тряпочка, и все затыкал себе уши. Вскрикивал, как будто его щекотали: “Не надо звуков, звуков не надо!..” Я не знаю, собственно, что потрясло его так: между нами говоря, он никогда не любил этой несчастной женщины. Как никак, она погубила его, Бахман после похорон исчез бесследно. Теперь вы еще найдете его имя в объявлениях пианольных фирм, но вообще-то он забыт. Только через шесть лет нас снова столкнула судьба. На один момент. Я ждал поезда на маленькой станции в Швейцарии. Был, помню, роскошный вечер. Я был не один. Да, – женщина. Но это уже из личной оперы. И вот, представьте себе, вижу, собралась небольшая толпа, окружила человека, – низенького роста, в черном пальтишке, в черной шляпе. Он совал монету в щелку музыкального автомата и при этом плакал навзрыд. Сунет, послушает мелкую музыку и плачет. Потом что-то испортилось. Монета застряла. Он стал расшатывать ящик, громче заплакал, бросил, ушел. Я узнал его сразу, – но, понимаете, я был не один, с дамой, кругом народ, любопытные, – неудобно было подойти, сказать: “Здравствуй, Бахман...”

9. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БЕРЛИНУ

Утром я побывал в Зоологическом саду, а теперь вхожу с приятелем, постоянным моим собутыльником, в пивную: голубая вывеска, по ней белыми буквами начертано “Львиная

Брага”, и сбоку подмигивает портрет льва, держащего кружку пива. Усевшись, я рассказываю приятелю о трубах, трамваях и прочих важных вещах.

I ТРУБЫ

Перед домом, где я живу, лежит вдоль панели огромная черная труба, и на аршин подальше – другая, а там – третья, четвертая: железные кишки улиц, еще праздные, еще не спущенные в земляные глубины, под асфальт. В первые дни после того, как их гулко свалили с грузовиков, мальчишки бегали по ним, ползали на четвереньках сквозь эти круглые туннели, – но через неделю уже больше никто не играл, – только валил снег. И теперь, когда в матовой полутьме раннего утра я выхожу из дома, то на каждой черной трубе белеет ровная полоса, а по внутреннему скату, у самого жерла одной из них, мимо которой как раз сворачивают рельсы, отблеск еще освещенного трамвая взмывает оранжевой зарницей. Сегодня на снеговой полосе кто-то пальцем написал “Отто”, и я подумал, что такое имя, с двумя белыми “о” по бокам и четой тихих согласных посередке, удивительно хорошо подходит к этому снегу, лежащему тихим слоем, к этой трубе с ее двумя отверстиями и таинственной глубиной.

II ТРАМВАЙ

Трамвай лет через двадцать исчезнет, как уже исчезла конка. Я уже чувствую в нем что-то отжившее, какую-то старомодную прелесть. Все в нем немного неуклюже, шатко, – и когда, при слишком быстром повороте, перо соскакивает с провода, и кондуктор, или даже один из пассажиров, перегнувшись через вагонную корму и глядя вверх, тянет, трясет веревку, норовя привести перо в должное положение, – я всегда думаю о том, что возница дилижанса, должно быть, ронял иногда кнут, и осаживал свою четверку, и посылал за кнутом парня в дологополой ливрее, сидевшего рядом на козлах и пронзительно трубившего в рожок, пока, гремя по булыжникам, дилижанс ухал через деревню.

У трамвайного кондуктора, выдающего билеты, совсем особые руки. Они так же порно работают, как руки пианиста, – но вместо того, чтобы быть бескостными, потными, с мягкими ногтями, руки кондуктора – такие жесткие, что когда, – вливая ему в ладонь мелочь, – случайно дотронешься до этой ладони, обросшей словно грубым, сухим хитином, становится нехорошо на душе. Необычайно ловкие, ладные руки, – несмотря на грубость их и толщину пальцев. Я с любопытством гляжу, как, зажав черным квадратным ногтем билетик, он прокалывает его в двух местах, как шарит пятерней в кожаном кошелье, загребая монеты для сдачи, и тотчас кошелек захлопывает, дергает тренькающий шнур или ударом большого пальца отпахивает окошечко в передней двери, чтобы дать билеты стоящим на площадке. И при этом вагон качает, люди в проходе хватаются за висячие ремни, при каждом толчке поддаются то вперед, то назад, – но он не уронит ни одной монеты, ни одного лоскутка, оторванного от билетного ролика. Теперь, в зимние дни, передняя дверца завешена внизу зеленым сукном, окна помутнели от мороза, у остановки, на краю панели, толпятся рождественские елки, – и зябнут у пассажиров ноги, и кондукторская рука подчас бывает в серой вязаной митенке. На конечной станции передний вагон отцепляется, переходит на другие рельсы, обходит оставшийся, возвращается с тыла, – и есть что-то вроде покорного ожидания самки в том, как второй вагон ждет, чтобы первый, мужеский, кидая вверх легкое трескучее пламя, снова подкатил бы, прицепился. И мне вспоминается, как, лет восемнадцать тому назад, в Петербурге, отпрягали лошадей, вели их вокруг пузатой синей конки.

Конка исчезла, исчезнет и трамвай, – и какой-нибудь берлинский чудак-писатель в двадцатых годах двадцать первого века, пожелав изобразить наше время, отыщет в музее былой техники столетний трамвайный вагон, желтый, аляповатый, с сидениями, выгнутыми по-старинному, и в музее былых одежд отыщет черный, с блестящими пуговицами, кондукторский мундир, – и, придя домой, составит описание былых берлинских улиц. Тогда все

будет ценно и полновесно, – всякая мелочь: и кошель кондуктора, и реклама над окошком, и особая трамвайная тряска, которую наши правнуки, быть может, вообразят; все будет облагорожено и оправдано стариной.

Мне думается, что в этом смысл писательского творчества: изображать обыкновенные вещи так, как они отразятся в ласковых зеркалах будущих времен, находить в них ту благоуханную нежность, которую почуют только наши потомки в те далекие дни, когда всякая мелочь нашего обихода станет сама по себе прекрасной и праздничной, – в те дни, когда человек, надевший самый простенький сегодняшней пиджачок, будет уже наряжен для изысканного маскарада.

III РАБОТЫ

Вот образы разных работ, которые я наблюдаю из трамвайного окна.

На перекрестке вдоль рельс разворочен асфальт; четверо рабочих поочередно бьют молотами по котырге; первый ударил, второй уже опускает размашистым и точным движением молот; второй молот грянул и опять высоко поднимается, пока рушатся равномерно, один за другим, третий, четвертый. Я слушаю их неторопливый звон, чугунные куранты, четыре повторяющиеся ноты.

Молодой белый пекарь в колпаке промахнул на трехколесном велосипеде: есть что-то ангельское в человеке, осыпанном мукой. Дребезжит фургон с ящиками на крыше, в ящиках изумрудно поблескивают ровные ряды пустых бутылок, собранных по кабакам. Таинственно провезли на телеге длинную черную лиственницу: она лежит плашмя, макушка мягко вздрагивает, а корни с землей, завернутые в плотную рогожу, образуют у ее основания огромную, желтовато-бурую бомбу. Почтальон подставил мешок под кобальтовый почтовый ящик, нацепляет его снизу и тайно, незримо, с поспешным шелестом, ящик опоражнивается, и почтальон захлопывает квадратную пасть отяжелевшего мешка. Но, быть может, прекраснее всего – бланжевые, в розовых подтеках и извилинах, туши, наваленные на грузовик, и человек в переднике, в кожаном капюшоне с долгим затыльником, который берет тяжкую тушу на спину и, сгорбившись, несет ее через панель в румяную лавку мясника.

IV ЭДЕМ

Во всяком большом городе есть своего рода земной рай, созданный человеком.

Если церкви говорят нам об Евангелии, то зоологические сады напоминают нам о торжественном и нежном начале Ветхого Завета. Жаль только, что этот искусственный рай – весь в решетках, но правда, не будь оград, лев пожрал бы лань. Все же это, конечно, рай, – поскольку человек способен рай восстановить. И недаром против берлинского Зоологического сада большая гостиница названа так: гостиница Эдем.

Теперь, зимой, когда тропических зверей спрятали, я советую посещать дом земноводных, насекомых, рыб. В полутемной зале ряды озаренных витрин по бокам похожи на те оконца, сквозь которые капитан Немо глядел из своей подводной лодки на морские существа, вьющиеся между развалин Атлантиды. За этими витринами, в сияющих углублениях, скользят, вспыхивая плавниками, прозрачные рыбы, дышат морские цветы, и на песочке лежит живая пурпурная звезда о пяти концах. Вот, значит, откуда взялась пресловутая эмблема: с самого дна океана – из темноты потопленных Атлантид, давным-давно переживших всякие смуты, – опыты глуповатых утопий, – и все то, что тревожит нас.

И, конечно, нужно посмотреть, как кормят черепах. Эти тяжкие, древние роговые купола привезены с Галапагосских островов. Из-под пятипудового купола медленно (как задержанный снимок в кинематографе), с какой-то дряхлой опаской, высовывается морщинистая плоская голова и две ни на что не способные лапы. И толстым, рыхлым языком, чем-то напоминающим язык гугнивого крестина, которого вяло рвет безобразной речью, черепаха, уткнувшись в кучу мокрых овощей, неопратно жует листья.

Но этот купол над ней, – ах, этот купол, – вековой, потертый, тусклая бронза, великолепный груз времен...

V ПИВНАЯ

– Это очень плохой путеводитель, – мрачно говорит мой постоянный собутыльник. – Кому интересно знать, как вы сели в трамвай, как поехали в берлинский Аквариум?

Пивная, в которой мы с ним сидим, состоит из двух помещений, одно большое, другое поменьше. В первом стоит посредине бильярд, по углам – несколько столиков, против входной двери – стойка, и за ней бутылки на полках. В простенке висят, как бумажные знамена, газеты и журналы на коротких древках. В глубине – широкий проход, и там видна тесная комнатка с зеленым диваном вдоль стены, под зеркалом, из которого вываливается полукруглый стол, покрытый клетчатой клеенкой, и прочно становится перед диваном. Эта комната относится к убогой квартирке хозяина. Там жена его, полногрудая, увядшая немка, кормит супом белокурого ребенка.

– Неинтересно, – утверждает с унылым зевком мой приятель. – Дело вовсе не в трамваях и черепахах. Да и вообще... Скучно, одним словом. Скучный, чужой город. И жить в нем дорого...

Из нашего угла подле стойки очень отчетливо видны в глубине, в проходе, – диван, зеркало, стол. Хозяйка убирает со стола посуду. Ребенок, опираясь локтями, внимательно разглядывает иллюстрированный журнал, надетый на рукоятку.

– Что вы там увидели, – спрашивает мой собутыльник и медленно, со вздохом, оборачивается, тяжело скрипя стулом.

Там, в глубине, ребенок остался на диване один. Ему оттуда видно зальце пивной, где мы сидим, – бархатный островок бильярда, костяной белый шар, который нельзя трогать, металлический лоск стойки, двое тучных шоферов за одним столиком и мы с приятелем за другим. Он ко всему этому давно привык, его не смущает эта близость наша, – но я знаю одно: что бы ни случилось с ним в жизни, он навсегда запомнит картину, которую в детстве ежедневно видел из комнатки, где его кормили супом – запомнит и бильярд, и вечернего посетителя без пиджака, отодвигавшего белым углом локоть, стрелявшего кием по шару, – и сизый дым сигар, и гул голосов, и отца за стойкой, наливавшего из крана кружку пива.

– Не понимаю, что вы там увидели, – говорит мой приятель, снова поворачиваясь ко мне.

И как мне ему втолковать, что я подглядел чье-то будущее воспоминание?

10. ПОДЛЕЦ

1

Проклятый день, в который Антон Петрович познакомился с Бергом, существовал только теоретически: память не прилепила к нему вовремя календарной наклейки, и теперь найти этот день было невозможно. Грубо говоря, случилось это прошлой зимой: Берг поднялся из небытия, поклонился и опустился опять, – но уже не в прежнее небытие, а в кресло. Было это у Курдюмовых, и жили они на улице Св. Марка, черт знает где, в Моабите, что ли. Курдюмовы так и остались бедняками, а он и Берг с тех пор несколько разбогатели; теперь, когда в витрине магазина мужских вещей появлялся галстук, дымно цветистый, – скажем, как закатное облако, – сразу в дюжине экземпляров, и точь-в-точь таких же цветов платки, – тоже в дюжине экземпляров, – то Антон Петрович покупал этот модный галстук и модный платок, и каждое утро, по дороге в банк, имел удовольствие встречать тот же галстук и тот же платок у двух-трех господ, как и он, спешащих на службу. С Бергом одно время у него были дела, Берг был необходим. Берг звонил ему по телефону раз пять в день, Берг стал бывать у них, – и острил, острил, – боже мой, как он любил острить. При первом его посеще-

нии, Таня, жена Антона Петровича, нашла, что он похож на англичанина и очень забавен. “Антон, здравствуй!” – рявкнул Берг, топыря пальцы и сверху, с размаху, по русскому обычаю, коршуном налетая на его руку и крепко пожимая ее. Был Берг плечист, строен, чисто выбрит, и сам про себя говорил, что похож на мускулистого ангела. Антону Петровичу он однажды показал старую, черную записную книжку: страницы были сплошь покрыты крестиками, и таких крестиков было ровным счетом пятьсот двадцать три. “Времен Деникина и покоренья Крыма, – усмехнулся Берг и спокойно добавил: – Я считал, конечно, только тех, которых бил наповал”. И то, что Берг бывший офицер, вызывало в Антоне Петровиче зависть, и он не любил, когда Берг при Тане рассказывал о конных разведках и ночных атаках. Сам он был коротконог, кругловат и носил монокль, который в свободное время, когда не был ввинчен в глазницу, висел на черной ленточке, а когда Антон Петрович сидел развалившись, блестел, как глупый глаз, у него на брюшке. Фурункул, вырезанный два года тому назад, оставил на левой щеке шрам, и этот шрам, и жесткие подстриженные усы, и пухлый расейский нос напряженно шевелились, когда Антон Петрович вдавливал стеклышко себе под бровь. “Напрасно ты пыжишься, – говорил Берг, – краше не станешь”.

В стаканах легкий пар млеет над поверхностью чая; жирный шоколадный эклер, раздавленный ложкой, выпускает свое кремовое нутро; Таня, положив голые локти на стол и упирая подбородок в скрещенные пальцы, смотрела вверх на то, как плывет дымок ее папиросы, и Берг ей доказывал, что надо остричь волосы, что все женщины спокон веков стригли волосы, что Венера Милосская стриженная, и Антон Петрович жарко и обстоятельно возражал, а Таня только пожимала плечом, ударом ногтя стряхивая пепел.

И все это прошло. В конце июля, в среду, Антон Петрович уехал по делу в Кассель, и оттуда послал жене телеграмму, что возвращается в пятницу. В пятницу оказалось, что ему придется остаться по крайней мере еще неделю, и он послал новую телеграмму. Но на следующий день утром дело провалилось, и Антон Петрович, уже не предупреждая жены, покинул обратно в Берлин. Он приехал около десяти, усталый и раздраженный. С улицы он увидел, что окна спальни освещены. Приятно, что жена дома. Он поднялся на пятый этаж, привычным движением повернул ключ в трех замках и вошел. Проходя по передней, он услышал, как в ванной комнате ровно шумит вода. “Танька моется”, – с любовью подумал Антон Петрович и прошел в спальню. В спальне, перед зеркалом, стоял Берг и завязывал галстук.

Антон Петрович машинально опустил на пол свой чемоданчик, не отводя глаз от Берга, который чуть откинув свое бесстрастное лицо, перебрал лопасть галстука и пропустил ее сквозь узел.

– Главное, не волнуйся, – сказал Берг, осторожно затягивая узел, – пожалуйста, не волнуйся. Будь совершенно спокоен.

Как поступить? Скорей... По ногам проходит дрожь. Ног уже нет, есть только холодная, ноющая дрожь. Скорей... Он стал стаскивать с руки перчатку. Перчатки были новые и сидели плотно. Он дергал головой, и сам не замечал, как бормочет: “Уходите немедленно прочь. Какое безобразие. Уходите прочь...”

– Ухожу, Антон, ухожу, – сказал Берг, и, широко и покойно двигая плечами, надел пиджак.

“Если я его ударю, он меня ударит тоже”, – быстро подумал Антон Петрович. Последним рывком он стянул перчатку и неловко бросил ее в Берга. Перчатка хлопнулась об стену и упала в кувшин с водой.

– Метко, – сказал Берг.

Он взял шляпу, трость и направился мимо Антона Петровича к двери. – Однако тебе придется меня выпустить, – обернулся он на ходу, – дверь внизу заперта.

Антон Петрович, едва соображая, что делает, за ним последовал. Когда они начали спускаться по лестнице, Берг, шедший впереди, вдруг стал смеяться.

– Прости, – сказал он, не оглядываясь, – но это ужасно смешно: выгоняют со всеми удобствами. – Через несколько ступеней он засмеялся опять и пошел быстрее. Антон Петрович тоже ускорил шаг. Эта поспешность безобразна, Берг нарочно заставляет его сбегать вприпрыжку. Какая пытка... Третий этаж... второй... Когда эта лестница кончится? Берг взял махом последние ступени и, постукивая об пол тростью, ждал Антона Петровича. Антон

Петрович тяжело дышал, не мог попасть в замок, руки тряслись. Наконец, дверь открылась.

– Не поминай лихом, – сказал Берг, уже стоя на панели, – будь ты на моем месте...

Антон Петрович захлопнул дверь. У него с самого начала зрела потребность хлопнуть какой-нибудь дверью. От грохота зазвенело в ушах. Только теперь, поднимаясь по лестнице, он заметил, что лицо мокро от слез и что остановить слезы нет никакой возможности, но нужно было торопиться. Он бегом добрался до верху, и, проходя через переднюю, опять услышал шум воды. Вместе с этим шумом доносился голос Тани. Она в ванной громко пела. Она еще ничего не знала. Антон Петрович выпустил дыхание и вернулся в спальню. Обе постели были открыты, и на жениной розовела ночная сорочка, а на диване были разложены вечернее платье и шелковые чулки, – она, очевидно, собралась идти танцевать с Бергом. Антон Петрович вынул из грудного карманчика великолепное самопишущее перо. “Я не могу тебя видеть. Если я тебя увижу, то не ручаюсь за себя. – Он писал стоя, неловко согнувшись над туалетным столом. Монокль помутился от крупной слезы... буквы плясали... – Пожалуйста, уходи. Я тебе оставляю пока сто марок. Переговорю завтра с Наташей. Переночуй у нее сегодня или в гостинице, – только, пожалуйста, не оставайся больше здесь”. Он кончил писать и приставил лист к зеркалу, на видном месте. Рядом положил стомарковый билет. И снова, проходя через переднюю, он услышал голос жены. Она в ванной пела, – голос у нее был цыганского пошиба, милый голос, счастье, летний вечер, гитара... она поет, щурясь, на подушке посреди комнаты... и Антон Петрович со вчерашнего дня жених, счастье, летний вечер, ночная бабочка на потолке, я тебя бесконечно люблю, для тебя я отдам свою душу... “Какое безобразие! Какое безобразие!” все повторял он, идя по улице. Было очень тепло и звездисто. Все равно куда идти. Теперь, вероятно, она уже вышла из ванны и все поняла. Антона Петровича передернуло: перчатка. В кувшине плавают коричневым комочком совсем новая перчатка. Он пошел быстрее и на ходу крикнул, так что вздрогнул прохожий. Увидев огромные смутные тополя и площадь, он подумал: где-то тут живет Митюшин. Антон Петрович позвонил ему по телефону из кабака, который обступил его, как сон, и снова отошел, удаляясь, как задний огонь поезда. Митюшин впустил его, но так как был сильно навеселе, сначала не обратил внимания на его искаженное лицо. В туманной комнатке находился неизвестный Антону Петровичу господин, а на диване, спиной к столу, лежала черноволосая дама в красном платье и, по-видимому, спала. На столе блестели бутылки. Антон Петрович попал на именины, но он так и не понял, чьи это были именины, – Митюшина ли, спящей дамы или неизвестного господина, оказавшегося русским немцем со странной фамилией Гнушке. Митюшин, сияя необыкновенно розовым лицом, познакомил его с Гнушке и, указав кивком на полную спину спящей дамы, сказал в воздух: “Позвольте, Анна Никаноровна, вам представить моего большого друга”. Дама не шелохнулась, чему, впрочем, Митюшин ничуть не удивился, словно он и не ожидал, что она проснется. Вообще все это было слегка нелепо, как бывает во сне: пустая бутылка из-под водки с воткнутой в горлышко розой, доска с начатой шахматной партией, спящая дама, пьяный Митюшин, пьяный, но совершенно спокойный Гнушке...

– Пей, – сказал Митюшин и вдруг поднял брови. – Что с тобой, Антон Петрович? Морда у тебя, как мел.

– Да, пейте, – с какой-то глупой серьезностью проговорил Гнушке, длиннолицый человек в высоком воротнике, похожий на черную таксу.

Антон Петрович залпом выпил полчашки водки и сел.

– Теперь рассказывай, что случилось, – сказал Митюшин. – Не стесняйся Генриха, – он самый честный человек на свете. Мой ход, Генрих, и знай, что, если ты сейчас хлопнешь моего слона, я тебе дам мат в три хода. Ну, валяй, Антон Петрович.

– Это мы сейчас посмотрим, – сказал Гнушке, выправляя манжету. – Ты забыл пешку на аш пять.

– Сам ты аш пять, – сказал Митюшин. – Антон Петрович сейчас будет рассказывать.

От водки все вокруг заходило ходуном: шахматная доска тихо полезла на бутылки, бутылки поехали вместе со столом по направлению к дивану, диван со спящей дамой двинулся к окну, окно тоже куда-то поехало. И это проклятое движение было как-то связано с Бергом, и нужно было положить этому конец, покончить с этим безобразием, растоптать, разорвать, убить.

– Я пришел к тебе, чтобы ты был моим секундантом, – начал Антон Петрович и смутно почувствовал, что в его словах есть безграмотность, но не был в силах это поправить.

– Понимаю, – сказал Митюшин, косясь на шахматную доску, над которой нависла, шевеля пальцами, рука Гнушке.

– Нет, ты слушай меня, – с тоской воскликнул Антон Петрович, – нет, ты слушай! Не будем больше пить. Это серьезно, серьезно.

Митюшин уставился на него блестящими голубыми глазами.

– Брось шахматы, Генрих, – сказал он, не глядя на Гнушке, – тут идет серьезный разговор.

– Я собираюсь драться, – прошептал Антон Петрович, стараясь взглядом удержать стол, который все плыл, все плыл куда-то. – Я хочу убить одного человека. Его зовут Берг, ты, кажется, встречал его у меня. Не стану объяснять причину...

– Секунданту можно, – сказал Митюшин.

– Простите, что вмешиваюсь, – заговорил вдруг Гнушке и поднял указательный палец. – Помните, что сказано: не убий!

– Этого человека зовут Берг, – произнес Антон Петрович. – Ты, кажется, знаешь его. И вот, мне нужно двух секундантов.

– Дуэль, – сказал Гнушке.

Митюшин толкнул его локтем: “Не перебивай, Генрих”.

– Вот и все, – шепотом dokonчил Антон Петрович и, опустив глаза, слабо потерев ленточку монокля.

Молчание. Ровно посапывала дама на диване. По улице пронесся гудок автомобиля.

– Я пьян, и Генрих пьян, – пробормотал Митюшин, – но, по-видимому, случилось что-то серьезное. – Он покусал костяшки руки и оглянулся на Гнушке. – Как ты считаешь, Генрих? – Гнушке вздохнул.

– Вот вы оба завтра пойдете к нему, – заговорил опять Антон Петрович. – Условьтесь о месте и так дальше. Он мне не дал своей карточки. По закону он должен был мне дать свою карточку. Я ему бросил перчатку.

– Вы поступаете, как благородный и смелый человек, – вдруг оживился Гнушке. – По странному совпадению, я несколько знаком с этим делом. Один мой кузен был тоже убит на дуэли.

“Почему – тоже? – тоскливо подумал Антон Петрович. – Неужели это предзнаменование?”

Митюшин отпил из чашки и бодро сказал:

– Как другу – не могу отказать. Утром пойдём к господину Бергу.

– Насчет германских законов, – сказал Гнушке. – Если вы его убьете, то вас посадят на несколько лет в тюрьму; если же вы будете убиты, то вас не тронут.

– Я все это учел, – кивнул Антон Петрович.

И потом появилась опять прекрасная самопишущая ручка, черная блестящая ручка с золотым нежным пером, которое в обычное время, как бархатное, скользило по бумаге, но теперь рука у Антона Петровича дрожала, теперь, как палуба, ходил стол... На листе почтовой бумаги, данном ему Митюшиным, Антон Петрович написал Бергу письмо, трижды назвал Берга подлецом и кончил бессильной фразой: один из нас должен погибнуть.

И потом он зарыдал, и Гнушке, цокая языком, вытирал ему лицо большим платком в красных квадратах, и Митюшин показывал на шахматную доску, глубокомысленно повторяя: “Вот ты его, как этого короля – мат в три хода и никаких гвоздей”. И Антон Петрович всхлипывал, слабо отклоняясь от дружеских гнушкиных рук, и повторял с детскими интонациями: “Я ее так любил, так любил”.

И рассветало.

– Значит, в девять часов вы будете у него, – сказал Антон Петрович и пошатываясь встал со стула.

– Через пять часов мы будем у него, – как эхо, отозвался Гнушке.

– Успеем выспаться, – сказал Митюшин.

Антон Петрович разгладил свою шляпу, на которой все время сидел, поймал руку Митюшина, подержал ее, поднял и почему-то прижал ее к своей щеке.

– Ну что ты, ну что ты, – забормотал Митюшин и, как давеча, обратился к спящей даме: – Наш друг уходит, Анна Никаноровна.

На этот раз она шелохнулась, вздрогнула спросонья, тяжело поворачиваясь. У нее было полное мятое лицо с раскосыми, чересчур подведенными глазами. “Вы бы, господа, больше не пили”, – спокойно сказала она и опять повернулась к стене.

Антон Петрович нашел на углу сонный таксомотор, который, как дух, понес его через пустыни светящегося города и уснул у его двери. В передней он встретил горничную Эльсбет: она, разинув рот, недобрыми глазами посмотрела на него, хотела что-то сказать, но раздумала и, шлепая ночными туфлями, пошла по коридору.

– Пойдите, – сказал Антон Петрович. – Моя жена уехала?

– Это стыд, – внушительно проговорила горничная, – это сумасшедший дом. Тащить ночью сундуки, все перевернуть.

– Я вас спрашиваю, уехала ли моя жена? – тонким голосом закричал Антон Петрович.

– Уехала, – угрюмо ответила Эльсбет.

Антон Петрович прошел в гостиную. Он решил спать там. В спальне, конечно, нельзя. Он зажег свет, лег на кушетку и накрылся пальто. Почему-то было неуютно кисти левой руки. Ах, конечно, часы. Он снял их, завел, да еще при этом подумал: “удивительная вещь, этот человек сохраняет полное хладнокровие. Он даже не забывает завести часы. Это хорошо”. И сразу, так как он был еще пьян, огромные ровные волны закачали его, ухнуло, поднялось, ухнуло, поднялось и стало сильно тошнить. Он привстал... большая медная пепельница... скорей... И так скинуло с души, что в паху закололо... и все мимо, мимо. Он заснул тотчас: одна нога в сером гетре свисала с кушетки и свет (который он совсем забыл выключить) бледным лоском обливал его потный лоб.

2

Митюшин был скандалист и пьяница. Он черт знает что мог натворить – этак с бухты-баряхты. Бесстрашный человек. И, помнится, рассказывали о каком-то его приятеле, что он, в пику почтовому ведомству, бросал зажженные спички в почтовый ящик. И говорили, что у этого приятеля прегнусная фамилия. Так что вполне возможно, что это был Гнушке. А, собственно говоря, Антон Петрович зашел к Митюшину просто так, чтобы спокойно посидеть, может быть, даже поспать у него, а то дома было слишком тошно. И ни с того, ни с сего... Нет, конечно, Берга полагается убить, но сначала нужно было хорошенько все продумать и, если выбирать секундентов, то уж, во всяком случае, порядочных людей. В общем, вышло безобразно. Все вышло безобразно. Начиная с перчатки и кончая пепельницей. Но теперь, конечно, ничего не поделаешь, нужно эту чашу испить до дна...

Он пошарил под диваном, куда закатились часы. Одиннадцать. Митюшин и Гнушке уже побывали у Берга. Вдруг какая-то приятная мысль проскользнула среди других, растолкала их, пропала опять. Что это было? Ага, конечно! Ведь они были пьяны вчера, и он был пьян. Они, вероятно, проспали, а потом очухались, подумали: вздор, так спьяну болтал. Но приятная мысль скользнула и исчезла. Все равно, дело начато, вчерашнее придется им повторить. Странно все же, что они до сих пор не показались. Дуэль. Здорово это звучит: дуэль. У меня дуэль. Я стреляюсь. Поединок. Дуэль. “Дуэль” – лучше. Он встал, заметил, что штаны страшно измяты. Пепельница была убрана. Очевидно, Эльсбет заходила, пока он спал. Как это неловко. Нужно пойти посмотреть, что делается в спальне. О жене он забыл, он должен забыть. Жены нет. Жены никогда не было. Все это прошло. Антон Петрович глубоко вздохнул и открыл дверь спальни. В углу стояла горничная и совала мятую газетную бумагу в мусорную корзину.

– Принесите мне, пожалуйста, кофе, – сказал он и подошел к туалетному столу. На нем лежал конверт: его имя, почерк Тани. Рядом валялись его щетка, гребенка, кисточка для бритья, безобразная жохлая перчатка. Антон Петрович вскрыл конверт. Сто марок и больше ничего. Он повертел бумажку в руке, не зная, что с ней делать.

– Эльсбет...

Горничная подошла, подозрительно на него поглядывая.

– Вот, возьмите. Вас так беспокоили ночью, и потом всякие другие неприятности... Возьмите же.

– Сто марок? – шепнула горничная и вдруг побагровела. Бог весть, что пронеслось у нее в голове, но она грохнула корзиной об пол и крикнула: – Нет! Меня подкупить нельзя, я честная. Подождите, я еще всем скажу, что вы хотели меня подкупить. Нет! В этом сумасшедшем доме... – И она вышла, стукнув дверью.

– Что с ней? Господи, что с ней? – растерянно залепетал Антон Петрович и, быстро шагнув к двери, завопил горничной вслед: – Убирайтесь вон сию минуту, убирайтесь из дому!..

“Третьего человека выгоняю, – подумал он, дрожа всем телом. – И кофе теперь никто мне не даст”.

Затем он долго мылся, переодевался, долго сидел в кафе напротив, посматривая в окно, не идут ли Митюшин и Гнушке. В городе у него была уйма дел, но делами он не мог заниматься. Дуэль. Красивое слово.

Около четырех к нему зашла Наташа, Танина сестра. Она едва могла говорить от волнения, и Антон Петрович похаживал туда-сюда и поглаживал мебель. Таня к ней ночью приехала в страшном состоянии. В невообразимом состоянии. Антону Петровичу вдруг показалось странным, что он с Наташей на ты. Ведь он больше теперь не женат на ее сестре.

“Я буду выдавать ей столько-то и столько-то”, – говорил он, стараясь так, чтобы голос не срывался. “Дело не в деньгах, – отвечала Наташа, сидя в кресле и раскачивая ногою в блестящем чулке. – Дело в том, что это все сплошной ужас. Это ад какой-то”. “Спасибо, что зашла, как-нибудь еще поговорим, но сейчас я очень занят”, – сказал Антон Петрович. Провожая ее до двери, он уронил (ему казалось, по крайней мере, что он “уронил”): “У меня с ним дуэль”. Наташины губы задрожали, она быстро поцеловала его в щеку и вышла. Странно, что она не стала его умолять не драться. Собственно говоря, она должна была бы умолять его не драться. В наши дни никто не дерется. У нее те же духи, как... У кого? Нет, нет, он никогда не был женат.

А через некоторое время, так около семи, явились Митюшин и Гнушке. Они были мрачны. Гнушке сдержанно поклонился и протянул запечатанный конверт конторского вида. “Я получил твое глупейшее и грубейшее послание... – У Антона Петровича выпал монокль, он вдавил его снова. – Мне тебя очень жаль, но раз уж ты взял такой тон, то я не могу не принять вызова. Секунданты у тебя довольно дрянные. Берг”.

У Антона Петровича появилась неприятная сухость во рту, – и опять эта дурацкая дрожь в ногах...

– Ах, садитесь же, – сказал он, и сам сел первый.

Гнушке утонул в кресле, спохватился и сел на кончик.

– Он пренахальный господин, – с чувством проговорил Митюшин. – Представь себе, он все время смеялся, так что я ему чуть не заехал в зубы.

Гнушке кашлянул и сказал:

– Одно могу вам посоветовать: цельтесь хорошо, потому что он тоже будет хорошо целиться.

Перед глазами у Антона Петровича мелькнула страничка в записной книжке, испи-санная крестиками, а еще кроме этого: картонная фигура, которая вырывает у другой кар-тонной фигуры зуб.

– Он опасная личность, – сказал Гнушке и откинулся в кресле, и опять утонул, и опять сел на кончик.

– Кто будет докладывать, Генрих, ты или я? – спросил Митюшин, жуя папиросу и большим пальцем дергая колесико зажигалки.

– Лучше уж ты, – сказал Гнушке.

– У нас был очень оживленный день, – начал Митюшин, тараща голубые свои глаза на Антона Петровича. – Ровно в половину девятого мы с Генрихом, который был еще вдрызг пьян...

– Я протестую, – сказал Гнушке.

–...направились к господину Бергу. Он попивал кофе. Мы ему – раз! всучили твое письмо. Которое он прочел. И что он тут сделал, Генрих? – Да, рассмеялся. Мы подожда-

ли, пока он кончит ржать, и Генрих спросил, какие у него планы.

– Нет, не планы, а как он намерен реагировать, – поправил Гнушке.

–...реагировать. На это господин Берг ответил, что он согласен драться и что выбирает пистолет. Дальнейшие условия такие: двадцать шагов, никакого барьера, и просто стреляют по команде: раз, два, три. Засим... Что еще, Генрих?

– Если нельзя достать дуэльные пистолеты, то стреляют из браунингов, – сказал Гнушке.

– Из браунингов. Выяснив это, мы спросили у господина Берга, как снестись с его секундантами. Он вышел телефонировать. Потом написал вот это письмо. Между прочим, он все время острил. Далее было вот что: мы пошли в кафе встретиться с его господами. Я купил Гнушке гвоздику в петлицу. По гвоздике они и узнали нас. Представились, ну, одним словом, все честь честью. Зовут их Малинин и Буренин.

– Не совсем точно, – вставил Гнушке. – Буренин и полковник Магеровский.

– Это неважно, – сказал Митюшин и продолжал. – Тут начинается эпопея. С этими господами мы поехали за город отыскивать место. Знаешь Вайсдорф – это за Ваннзе. Ну вот. Мы там погуляли по лесу и нашли прогалину, где, оказывается, эти господа со своими дамами устраивали на днях пикничок. Прогалина небольшая, кругом лес да лес. Словом, место идеальное. Видишь, какие у меня сапоги, – совсем белые от пыли.

– У меня тоже, – сказал Гнушке. – Вообще прогулка была утомительная.

– Сегодня жарко, – сказал Митюшин. – Еще жарче, чем вчера.

– Значительно жарче, – сказал Гнушке.

Митюшин с чрезмерной тщательностью стал давить папиросу в пепельнице. Молчание. У Антона Петровича сердце билось в пищеводе. Он попробовал его проглотить, но оно застучало еще сильнее. Когда же дуэль? Завтра? Почему они не говорят? Может быть, послезавтра? Лучше было бы послезавтра...

Митюшин и Гнушке переглянулись и встали.

– Завтра в половине седьмого мы будем у тебя, – сказал Митюшин. – Раньше ехать незачем. Все равно там ни пса нет.

Антон Петрович тоже встал. Что сделать? Поблагодарить?

– Ну вот, спасибо, господа... Спасибо, господа... Значит, все устроено. Значит, так.

Те поклонились.

– Мы еще должны найти доктора и пистолеты, – сказал Гнушке.

В передней Антон Петрович взял Митюшина за локоть и пробормотал:

– Ужасно, знаешь, глупо, – но дело в том, что я, так сказать, не умею стрелять. То есть умею, но очень плохо...

Митюшин хмыкнул.

– Н-да. Не повезло. Сегодня воскресенье, а то можно было бы тебе взять урок. Не повезло.

– Полковник Магеровский дает частные уроки стрельбы, – вставил Гнушке.

– Да, – сказал Митюшин, – ты у меня умный. Но все-таки, как же нам быть, Антон Петрович? Знаешь что, – новичкам везет. Положись на Господа Бога и ахни.

Они ушли. Вечерело. Никто не спустил штор. В буфете есть, кажется, сыр и грахамский хлеб. Пусто в комнатах и неподвижно, как будто было время, что вся мебель дышала, двигалась, – а теперь замерла. Картонный зубной врач с хищным лицом склонился над обезумевшим пациентом: это было так недавно, в синий, разноцветный фейерверочный вечер, в Луна-парке. Берг долго целился, хлопало духовое ружье, и пулька, попав в цель, освобождала пружину, и картонный дантист выдергивал огромный зуб о четырех корнях. Таня была в ладоши, Антон Петрович улыбался, и Берг стрелял снова, и с треском вращались картонные диски, разлетались на осколки трубки, исчезал шарик, плясавший на тонкой струе фонтана. Ужасно... И ужасней всего, что Таня тогда сказала так, в шутку: “А с вами неприятно было бы драться на дуэли”. Эта дуэль будет без барьера. Антон Петрович твердо был убежден, что барьер – это ограда, – из досок, что ли, – стоя за которой, палит дуэлянт. А теперь барьера не будет, – никакой защиты. Двадцать шагов, Антон Петрович, считая шаги, прошел от двери до окна. Одиннадцать. Он вставил монокль, прикинул на глаз расстояние: две такие, совсем небольшие комнаты. Ах, если б удалось сразу пальнуть, сразу повалить Берга.

Но он же не умеет целиться. Промах неизбежен. Вот, скажем, разрезательный нож. Или нет, возьмем лучше это пресс-папье. Нужно его держать так и целиться. А может быть так, у самого лица, этак как будто лучше видно. И в это мгновенье, держа перед собой пресс-папье, изображавшее попугая, и поводя им туда-сюда, в это мгновенье Антон Петрович понял, что будет убит.

Около десяти он решил лечь. Но спальня была табу. С большим трудом он отыскал в комодке чистое постельное белье, переделал подушку, обтянул простыней кожаную кушетку в гостиной. Раздеваясь, он подумал: “Я в последний раз в жизни ложусь спать”. “Пустяки!” – слабо пискнула какая-то маленькая часть души Антона Петровича, та часть его души, которая заставила его бросить перчатку, хлопнуть дверью, назвать Берга подлецом. “Пустяки! – тонким голосом сказал Антон Петрович и спохватился: нехорошо так говорить. – Если я буду думать, что со мной ничего не случится, то со мной случится самое худшее. Все в жизни всегда случается наоборот. Хорошо бы что-нибудь на ночь почитать, – в последний раз”.

“Вот опять, – застонал он мысленно. – Почему последний раз? Я в ужасном состоянии. Нужно взять себя в руки. Ах, если б какие-нибудь были приметы. Карты”.

На столике рядом с кушеткой лежала колода карт, Антон Петрович взял верхнюю: тройка бубен. Что значит тройка бубен? Неизвестно. Дальше он вытащил по порядку: даму бубен, восьмерку треф, туз пик. А! Вот это нехорошо. Туз пик – это, кажется, смерть. Но, впрочем, глупости, суеверные глупости... Полночь. Пять минут первого. Завтра стало сегодня. У меня сегодня дуэль.

Он вновь и вновь пробовал успокоиться. Но происходили странные вещи: книга, которую он держал, называлась “волшебная гора”, а гора по-немецки – Берг; он решил, что если досчитает до трех, и на три пройдет трамвай, он будет убит, – и так оно и случилось: прошел трамвай. И тогда Антон Петрович сделал самое скверное, что мог сделать человек в его положении: он решил уяснить себе, что такое смерть. Спустя минуту такого раздумья все потеряло смысл. Ему стало трудно дышать. Он встал, прошелся по комнате, поглядел в окно на чистое, страшное ночное небо. “Надо завещанье написать”, – подумал Антон Петрович. Но писать завещанье было, так сказать, играть с огнем; это значило мысленно похоронить себя. “Лучше всего выспаться”, – сказал он вслух. Но как только он опускал веки, перед ним являлось злое, веселое лицо Берга и щурило один глаз. Тогда он опять зажигал свет, пытался читать, курил, хотя курильщиком не был. Мгновениями он вспоминал мелочь из прошлой жизни, – детский пистолетик, тропинку в парке или что-нибудь такое, – и сразу пресекал свои воспоминания, подумав: умирающие всегда вспоминают мелочи прошлой жизни. Этого не нужно делать. И тогда обратное пугало его: он замечал, что о Тане не думал, что он как бы охлажден наркотиком, нечувствителен к ее отсутствию. И сама собой являлась мысль: я бессознательно уже простился с жизнью, мне теперь все безразлично, раз я буду убит... И ночь уже шла на убыль.

Около четырех он прошаркал в столовую и выпил стакан сельтерской воды. Проходя мимо зеркала, он поглядел на свою полосатую пижаму, на жидкие, растрепанные волосы. “У меня будет безобразный вид, стыдно... – подумал он. – Но как выспаться, как выспаться?”

Он завернулся в плед, так как заметил, что у него говорят зубы, и сел в кресло посреди смутной, медленно бледневшей комнаты. Как это все будет? Нужно надеть что-нибудь строгое, но элегантное. Может быть, смокинг? Нет, это глупо. Тогда – черный костюм... и, пожалуй, черный галстук. Черный костюм, совсем новый. Но если будет рана, – скажем, рана в плечо. Костюм будет испорчен... Кровь, дырка, будут еще резать рукав. Пустяки, ничего не будет. Надо надеть новый черный костюм. И, когда начнется дуэль, он поднимет воротник пиджака, так, кажется, полагается, – чтобы не белела рубашка, что ли, или просто потому, что по утрам сыро. Так было в одном фильме. Затем нужно будет сохранять полное хладнокровие, говорить со всеми вежливо и спокойно. Спасибо, я уже стрелял. Теперь ваша очередь. Если вы не вынете папиросу изо рта, то я стрелять не стану. Я готов продолжать. Спасибо, я уже стрелял. “Спасибо, я уже смеялся”, – анекдот какой-то. Чепуха, не то. Значит, все-таки, как же будет? Они приедут – он, Митюшин и Гнушке, – на автомобиле, оставят автомобиль на шоссе, пройдут в лес. Там уже, вероятно, будет ждать Берг и его секунданты. Вот тут неизвестно, – нужно ли поклониться или нет. Может быть, хорошо

выйдет, если так, издали, сдержанно, приподнять шляпу. Потом, вероятно, будут мерить шаги и заряжать пистолеты, – как в “Евгении Онегине”. Что он будет делать тем временем? Да, конечно, он где-нибудь в стороне поставит ногу на пень и будет так – непринужденно – ждать. Но что если Берг станет тоже так – ногой на пень? Берг на это способен... Передразнить его. И выйдет опять безобразие. Еще можно прислониться к стволу или просто на траву сесть. Ну, там видно будет. Что-нибудь достойное и небрежное. Теперь дальше: они оба станут на отмеченные места. Тут-то он поднимет воротник. Пистолет возьмет так. Секунданты начнут считать. И тогда вдруг произойдет самое страшное, самое дикое, то, что представить себе нельзя, – хоть думай об этом ночи напролет, хоть живи до ста лет... Какое это чувство, когда пуля попадает в сердце или в лоб? Боль? Тошнота? Или просто – бац? – и полная тьма! А что, если какая-нибудь отвратительная рана, – в глаз, в живот? Нет, Берг убьет его наповал. Тут, конечно, сосчитаны только те, которых я бил наповал. Еще один крестик в записной книжке. Немыслимо...

В столовой часы прозвонили пять раз. Антон Петрович с огромным трудом, дрожа и кутаясь в клетчатый плед, поднялся – и опять задумался, и вдруг топнул ногой, как топнул Людовик, когда сказали ему, что пора ехать на эшафот. Ничего не поделаешь. Казнь неизбежна. Нужно пойти мыться, одеваться. Чистое белье и новый черный костюм. И, вставляя запонки в манжеты рубашки, Антон Петрович подумал, что вот, через два-три часа, эта рубашка будет вся в крови, и вот тут будет дырка. Он погладил себя по блестящим волоскам, которые спускались тропинкой по теплой груди, и стало так страшно, что он прикрыл ладонью глаза. С какой-то трогательной самостоятельностью все сейчас в нем движется: пульсирует сердце, надуваются легкие, бежит кровь, сокращаются кишки, – и это внутреннее, мягкое, незащищенное существо, живущее так слепо, так доверчиво, это нежное анатомическое существо он ведет на убой... На убой! Он крикнул, влезая в холодную, белую темноту рубашки, – и потом уже старался не думать ни о чем, выбирал носки, галстук, замшевым лоскутком неловко чистил башмаки. Ища чистый платок, он набрел на палочку румян. И, взглянув в зеркало, на свое ужасное, бледное лицо, он осторожно повел липкой этой палочкой по щеке. Вышло сперва еще гаже. Он лизнул палец, потер щеку, пожалел, что никогда не посмотрел хорошенько, как мажутся дамы. На щеках появился легкий кирпичный налет, – ему показалось, что так хорошо... “Ну вот, я и готов”, – сказал он, обращаясь к зеркалу, и мучительно зевнул: зеркало залилось слезами. Быстро двигая руками, он надушился, разложил по карманам бумаги, платок, ключи, самопишущее перо, нацепил монокль. Жалко, что нет хороших перчаток. Такая была новенькая пара, но левая овдовела. Он сел в гостиной, перед письменным столом, положил локти на стол и стал ждать, глядя то в окно, то на часы в складной кожаной раме.

А утро было чудесное. В высокой липе, под окном, бесновались воробьи. Голубая бархатная тень сплошь покрывала улицу, а крыши там и сям загорались серебром. Антону Петровичу было холодно, и невыносимо болела голова. Хорошо бы хватить коньяку. Коньяку в доме нет. Дом уже нежилой, хозяин уезжает навеки. Ах, пустяки. Мы требуем спокойствия. Сейчас раздастся с парадной звонок. Нужно быть совершенно спокойным. Вот-вот – сейчас грянет звонок. Они уже опоздали на три минуты. Может быть, не придут? Такое дивное летнее утро... Да, они не придут. Это хорошо. Он подождет еще полчаса, а потом завалится спать. Антон Петрович широко разинул рот, приготовился выдавить цельный ком зевоты, – хрустнуло в ушах, вздулось под небом, – и в этот миг загредел звонок. И судорожно проглотив недовершенный зев, Антон Петрович прошел в переднюю, отпер дверь, и Митюшин и Гнушке переступили порог.

– Пора ехать, – сказал Митюшин, глядя в упор на Антона Петровича. Он был в своем всегдашнем фисташкового цвета костюме, а Гнушке надел сюртук.

– Да, я готов, – сказал Антон Петрович, – я сейчас...

Он оставил их стоять в передней, метнулся в спальню и, чтобы выиграть время, стал мыть руки, и все повторял про себя: “Что же это такое. Боже мой, что же это такое?” Еще только пять минут тому назад была надежда, что случится землетрясение, что Берг умрет от разрыва сердца, что судьба вмешается, приостановит, спасет.

– Антон Петрович, поторопись, – позвал Митюшин из передней. Он быстро вытер руки и вышел к ним.

– Да-да, я готов, идемте.

– Нам придется поездом ехать, – сказал Митюшин, когда они вышли на улицу. – А то прикатим на такси в глухой лес, да еще в такую рань, – может показаться подозрительным, шофер донесет. Антон Петрович, пожалуйста, не трись.

– Я не трушу, какие пустяки, – ответил Антон Петрович и беспомощно улыбнулся.

Гнушке, который до тех пор все молчал, шумно высморкался и деловито проговорил:

– Доктора привезет наш противник. А дуэльных пистолетов мы не нашли. Зато достали два одинаковых браунинга.

В таксомоторе, который должен был их везти на вокзал, они сели так: Антон Петрович и Митюшин сзади, Гнушке спереди на стульчике, поджав ноги. Антона Петровича одолела нервная зевота. Ему, вероятно, мстил тот зевок, который был им проглочен. Вот опять – до слез. Митюшин и Гнушке были очень серьезны, но вместе с тем казались чрезвычайно довольны собой.

– А я превосходно выспался, – вдруг сказал Антон Петрович, сжав зубы и зевнув только ноздрями. Он подумал, что бы еще сказать, – что-нибудь непринужденное, небрежное...

– На улицах уже много народу, – сказал он и добавил: – Хотя еще так рано. – Митюшин и Гнушке молчали. Опять зевота. Господи...

На вокзал они прикатили скоро, Антону Петровичу показалось, что никогда он так скоро не ездил. Гнушке взял билеты и, держа их веером, пошел вперед. Вдруг он оглянулся на Митюшина и значительно кашлянул. У будки, где продаются папиросы и пиво, стоял Берг. Он доставал мелочь из кармана штанов, левую руку глубоко запуская в карман, а правой рукой карман придерживал, как это делают англичане. Он выбрал монету на ладони и, передавая ее продавщице, сказал что-то, от чего та засмеялась. Берг засмеялся тоже. Он стоял, слегка расставя ноги, покачиваясь с каблучков на носки. Он был в сером фланелевом костюме.

– Пройдем так, – сказал Митюшин, – а то неловко проходить рядом.

Какое-то оцепенение нашло на Антона Петровича. Ничего не сознавая, он влез в вагон, сел у окна, снял шляпу, надел ее опять. Только когда поезд дернул и двинулся, он пришел в себя, – и в это мгновение его охватило то чувство, какое бывает во сне, когда, летя в поезде легкого кошмара, вдруг замечаешь, что уехал в одном нижнем белье.

– Они сели в следующий вагон, – сказал Митюшин и вынул портсигар. – Да что это ты все зеваешь, Антон Петрович? Прямо жутко смотреть.

– Это я всегда по утрам, – машинально ответил Антон Петрович.

Сосны, сосны, сосны. Песчаный склон. Опять сосны. Такое дивное утро...

– Тебе сюртук не идет, Генрих, – опять заговорил Митюшин. – Прямо скажу: не идет.

– Это мое дело, – сказал Гнушке.

Прелестные сосны. А вот сверкнула вода. Опять лес. Какая жалость, какая слабость... Только бы опять не зевнуть, ноют челюсти. Если удерживаться, выступают слезы. Он сидел, повернувшись лицом к окну, и слушал, как колеса выстукивают: на у-бой, на у-бой, на у-бой...

– Советую вам вот что, – вдруг обратился к нему Гнушке. – Стреляйте сразу. Целиться я вам советую в центр его фигуры – больше шансов.

– Все дело в счастии, – сказал Митюшин. – Попадаешь – хорошо, не попадешь – ничего, он тоже может промахнуться. Настоящая дуэль, собственно говоря, начинается после первого обмена. Тут уже, так сказать, начинается самый интерес.

Станция. Опять тронулись. Почему они его так мучат? Сегодня немислимо умереть. Совершенно немислимо. Что, если упасть в обморок? Нужно быть хорошим актером... Что предпринять? Что делать? Такое дивное утро...

– Антон Петрович, прости, что я спрашиваю, – сказал Митюшин, – но это важно. У тебя ничего нет нам передать? В смысле бумаг? Письма, что ли, завещания? Это всегда так делается.

Антон Петрович покачал головой.

– Напрасно, – сказал Митюшин. – Мало ли что может быть. Вот мы с Генрихом уже приготовились к тому, чтобы пожить в тюрьме. Дела у тебя в порядке?

Антон Петрович кивнул. Он говорить больше не мог. Единственный способ удержаться от крика было смотреть на мелькающие сосны.

– Нам сейчас вылезать, – сказал Гнушке и встал. Митюшин встал тоже. Антон Петрович, стиснув зубы, наполовину поднялся, но от толчка поезда снова присел.

– Выходить, – сказал Митюшин и повернул рукоятку двери.

Только тогда Антону Петровичу удалось отделиться от лавки. Вдавлив в глазницу монокль, он осторожно сошел на платформу. Солнце, теплынь...

– Они идут сзади, – сказал Гнушке. Антон Петрович слегка согнулся, как будто что-то ему напирало в спину. Нет, это немыслимо, надо проснуться.

Оставив вокзал, они пошли по шоссе мимо крохотных кирпичных домов с петуньями в окнах. На углу шоссе и мягкой белой дороги, уходящей в лес, был трактир. Антон Петрович вдруг остановился.

– Ужасно пить хочется, – сказал он глухо. – Я бы чего-нибудь такого выпил.

– Да, не мешает, – протянул Митюшин. Гнушке оглянулся и сказал:

– Они уже свернули в лес.

– Успеем, – сказал Митюшин.

Втроем они вошли в трактир. Тучная женщина тряпкой вытирала стойку. Она хмуро поглядела на них и налила им три кружки пива.

Антон Петрович глотнул, как бы немножко задохнулся и сказал:

– Подождите минуточку. Я сейчас.

– Только поторопись, – сказал Митюшин, ставя кружку обратно на стойку.

Антон Петрович прошел в коридор, куда метила стрелка, быстро прошел мимо уборной, мимо кухни, вздрогнул от того, что кошка шмыгнула под ногами, ускорил шаг, дошел до конца коридора, толкнул дверь, и в лицо брызнуло солнце. Он оказался в зеленом дворике, где прогуливались куры, и сидел на полене мальчик в полинялом купальном костюме. Антон Петрович быстро махнул мимо него, мимо кустов бузины, сбежал по каким-то деревянным ступеням, опять попал в кусты и вдруг поскользнулся, так как почва шла под уклон. Кусты хлестали по лицу, он неловко раздвигал их, нырял, скользил, – склон, густо заросший бузиной, спускался все круче. Наконец стремление его стало неустойчиво. Он съезжал вниз на напряженных, растопыренных ногах, отбиваясь от гибких веток. Потом он на полном ходу обнял неожиданной ствол дерева и стал продвигаться наискось. Кусты поредели. Впереди высокий забор. В заборе он сразу нашел лазейку, прошуршал сквозь крапиву и оказался в сосновой роще, где между стволами развешено было пестрое от теней белье, и стояли какие-то досчатые строения. Все так же решительно он прошел рощу и опять заметил, что скользит вниз по склону. Впереди между деревьев засияла вода. Он споткнулся, чуть не упал, увидел справа тропинку и перешел на нее. Тропинка привела его к озеру.

Загорелый, цвета копченой камбалы, старик рыболов в соломенной шляпе указал ему дорогу на станцию Ваннзе. Дорога шла сперва вдоль озера, потом свернула в лес, и около двух часов он плутал в лесу, пока наконец не вышел на полотно. Он добрал до ближайшей станции, и в это мгновение подошел поезд. С опаской он влез в вагон, втиснулся между двух пассажиров, которые не без удивления взглянули на этого странного, не то подкрашенного, не то запыленного человека, теребящего ленту монокля.

И только в Берлине, на площади, он остановился: по крайней мере у него было такое чувство, точно он до сих пор беспрерывно бежал и вот только сейчас остановился, передохнул, огляделся. Рядом старая цветочница с огромной шерстяной грудью продавала гвоздики. Человек в панцире из газет выкрикивал название берлинского листка. Чистильщик сапог подобострастно посмотрел на Антона Петровича. И облегченно вздохнув, Антон Петрович твердо опустил ногу на подставку, и чистильщик сразу стал быстро-быстро работать локтями.

“Все, конечно, ужасно, – думал он, глядя, как постепенно разгорается носок башмака. – Но я жив, а это пока главное”. Митюшин и Гнушке, вероятно, сторожат у дома, так что нужно переждать. С ними нельзя встретиться ни в каком случае. Ночью он зайдет за вещами. Нужно будет в эту же ночь покинуть Берлин. Он еще обдумает, как это сделать...

– Здравствуйте, Антон Петрович, – раздался мягкий голос над самым его ухом.

Он так вздрогнул, что нога соскользнула с подставки. Нет, ничего, ложная тревога. Это

был некий Леонтьев, человек, которого он встречал раза три-четыре, журналист, кажется, или что-то вроде этого. Болтливый, но безобидный человек. Говорят, что ему жена изменяет с кем попало.

– Гуляете? – спросил Леонтьев, меланхолично пожимая ему руку.

– Да. Нет, у меня всякие дела, – ответил Антон Петрович и подумал: если он сейчас не поклонится и не уйдет, это будет безобразно.

Леонтьев посмотрел в одну сторону, потом в другую и сказал, просяив, словно сделал счастливое открытие:

– Прекрасная погода!

Вообще же он был пессимист и, как всякий пессимист, человек до смешного не наблюдательный. Лицо у него было плохо выбритое, желтоватое, длинное, и весь он был какой-то неладный, тощий и унылый, словно у природы ныли зубы, когда она создавала его.

Чистильщик с молодецким стуком сложил щетки. Антон Петрович посмотрел на повеселевшие свои башмаки.

– Вам в какую сторону? – спросил Леонтьев.

– А вам? – спросил Антон Петрович.

– Да мне все равно. Я сейчас свободен. Могу вас немного проводить, – он кашлянул и вкрадчиво добавил: – конечно, если вы разрешите.

– Ну, что вы, пожалуйста, – пробурчал Антон Петрович. Прилип. Нужно пойти по каким-нибудь другим улицам. А то наберутся еще знакомые. Только не встретить тех двоих. Ради Бога.

– Ну, как вы живете? – спросил Леонтьев. Он был из породы тех людей, которые спрашивают, как вы живете, только для того, чтобы обстоятельно рассказать, как они сами живут.

– Х-м... Так... Ничего, – невнятно ответил Антон Петрович. “А потом он, конечно, все узнает. Господи, какая ерунда”. – Мне направо, – сказал он вслух и резко повернул.

Леонтьев, грустно улыбаясь своим мыслям, длинными ногами въехал в него и легко откатнулся.

– Направо, так направо, мне все равно.

“Что делать? – подумал Антон Петрович. – Не могу же я с ним просто так гулять. Нужно так много обдумать, решить... И я страшно устал, мозоли болят”.

А Леонтьев уже рассказывал. Он рассказывал пространно. Он рассказывал о том, сколько он платит за комнату, как трудно платить, как трудно вообще жить, как редко бывает, что попадается хорошая квартирная хозяйка, что у них хозяйка так себе.

– Моя жена, Анна Никаноровна, с ней не ладит, – рассказывал Леонтьев и вкрадчиво усмехался.

Они шли по совершенно незнакомой улице, где двое потных рабочих, один с татуированной грудью, чинили мостовую. Антон Петрович вытер платком лоб и сказал:

– У меня тут поблизости есть дело. Меня ждут. Деловое свидание.

– Да я вас провожу, – грустно улыбнулся Леонтьев.

Антон Петрович окинул улицу отчаянным взглядом. Вывеска: отель. Убогий отель. Дом черноватый, плоский.

– Мне сюда, – сказал Антон Петрович. – Да, в эту гостиницу. Деловое свидание.

Леонтьев снял рваную перчатку, мягко пожал ему руку.

– А знаете что, – я вас, пожалуй, немного подожду. Вы ведь будете недолго?

– Нет, долго, – сказал Антон Петрович.

– Жаль. А то мне хотелось кое о чем с вами потолковать, совета у вас попросить. Ну, всего хорошего. Я на всякий случай еще послоняюсь тут. Может быть, вы освободитесь раньше.

Антон Петрович вошел в отель. Ничего не поделаешь. Было пусто и темно. Из-за какого-то прилавка выросла взъерошенная личность и спросила, что ему нужно. “Комнату”, – тихо сказал Антон Петрович. Личность задумалась, почесала себя за ухом и потребовала задаток. Антон Петрович дал десять марок. Рыжая горничная, быстро виляя задом, провела его по длинному коридору, отперла дверь. Он вошел, глубоко вздохнул и сел в низкое плюшевое кресло. Он был один. Мебель, постель, умывальник проснулись, посмотрели на него

исподлобья и задремали опять. В этом сонном, ничем не приметном номере Антон Петрович был, наконец, один.

И, сгорбившись, прикрыв ладонью глаза, он задумался, и перед ним поскакало что-то зеленое, желтое, мальчишка на полене, рыболов, Леонтьев, Берг, Таня. И подумав о Тани, он застонал и сгорбился еще напряженнее. Ее голос, ее милый голос. Быстроглазая, легкая, прыгала на диван и сразу поджимала ноги, и юбка кругом вздымалась шелковым куполом и спадала опять. А не то сидела у стола, так неподвижно, только изредка мигала, и, подняв лицо, выпускала папиросный дым. Бессмысленно... Зачем ты врала? Ведь ты врала. Что я буду без тебя делать? Танька!.. Понимаешь, – ты врала. Моя радость, – ну почему? Почему? Танька!

И, постанывая и хрустя пальцами, он зашагал по номеру, стучаясь о мебель, не замечая, что стучается. Случайно он остановился у окна, взглянул на улицу. Сперва улицы не было видно из-за тумана в глазах, но туман рассеялся. Появилась улица, какой-то фургон, велосипедист, старушка, осторожно покидающая тротуар. И по тротуару медленно брел Леонтьев, читая на ходу газету; прошел, свернул за угол. И почему-то при виде Леонтьева Антон Петрович осознал всю безнадежность, – да, именно, безнадежность, другого слова нет, – всю безнадежность своего положения. Еще вчера он был совершенно порядочным человеком, уважаем друзьями, знакомыми, сослуживцами. Служба! Какая там служба! Теперь все изменилось: он сбежал по скользкому склону – и теперь он внизу.

– Но как же так? Нужно на что-то решиться, – тонким голосом сказал Антон Петрович. Может быть, есть какой-нибудь выход? Помучили его и довольно. Да, нужно решиться. Подозрительный взгляд взъерошенной личности. Что сказать ей? Ну да, ясно: я иду за вещами, они остались на вокзале. Так. С этой гостиницей он рассчитался навеки. Улица, слава Богу, свободна, – Леонтьев подождал и ушел. Как мне пройти на ближайшую остановку трамвая? Ах, идите прямо, и вы дойдете до ближайшей остановки трамвая. Нет, лучше автомобиль. Поехали. Улицы становятся опять знакомыми. Спокойно, совсем спокойно он вылез из автомобиля. Он – дома. Пять этажей. Спокойно, совсем спокойно он вошел в переднюю. Но все-таки страшно. Он быстро открыл дверь в гостиную. Ах, какое удивление!

В гостиной, у круглого стола, сидят Митюшин, Гнушке... Таня. На столе – бутылки, чашки. Митюшин, весь мокрый и розовый, глаза блестят, пьян, как стелька. Гнушке тоже пьян, улыбается и потирает руки. Таня сидит, положив голые локти на стол, неподвижно на него уставилась...

Митюшин ахнул, подбежал к нему, схватил за руку. “Наконец-то объявился!” И шепотом, лукаво подмигнув: “Ну и фрукт”.

Антон Петрович сел, выпил водки. Митюшин и Гнушке все так же лукаво, но добродушно поглядывают на него. Таня говорит: “Ты, вероятно, голоден. Я принесу тебе бутерброд”. Да, большой бутерброд с ветчиной, так чтобы торчало сальце. И вот, как только она вышла, Митюшин и Гнушке бросились к нему, заговорили, перебивая друг друга: “Ну и повезло тебе, Антон Петрович! Представь себе, – господин Берг тоже струсил. Нет, не тоже струсил, а просто: струсил. Пока мы ждали тебя в трактире, вошли его секунданты, сообщили, что Берг передумал. Эти широкоплечие нахалы всегда оказываются трусами. Мы просим вас, господа, извинить нас, что мы согласились быть секундантами этого подлеца. Вот как тебе повезло, Антон Петрович! Все, значит, шито-крыто. И ты вышел с честью, а он опозорен навсегда. А главное, – твоя жена, узнав об этом, сразу бросила Берга и вернулась к тебе. И ты должен простить ее”.

Антон Петрович, широко улыбнувшись, встал, заиграл ленточкой монокля. И медленно исчезла улыбка. Таких вещей в жизни не бывает.

Он посмотрел на плюшевое кресло, на пухлую постель, на умывальник, и этот жалкий номер в этом жалком отеле показался ему той комнатой, где отныне ему придется жить всегда. Присев на постель, он снял башмаки, облегченно пошевелил пальцами ног, заметил, что натер пятку, и что левый носок порвался. Потом он позвонил, заказал бутерброд с ветчиной. И когда горничная поставила на стол тарелку, он замер, и как только закрылась дверь, обеими руками схватил хлеб, засопел, сразу измазал пальцы и подбородок в салу и стал жадно жевать.

11. ПАССАЖИР

– Да, жизнь талантливее нас, – вздохнул писатель, постукивая картонным концом папиросы о крышку портсигара. – Иногда она придумывает такие темы... Куда нам до нее! Ее произведения непередаваемы, непередаваемы...

– Все права закреплены за автором, – улыбнувшись, подсказал критик, скромный, близорукий человек с тонкими, подвижными пальцами.

– Нам остается только жулить, – продолжал писатель, рассеянно бросив спичку в пустую рюмку критика. – Нам остается делать с ее творениями то, что делает фильм режиссер с известным романом. Режиссеру нужно, чтобы горничным в субботний вечер было нескучно, и потому он этот роман меняет до неузнаваемости, крошит его, выворачивает, выбрасывает тысячу эпизодов, вводит придуманные им самим происшествия, новых персонажей, – и все для того, чтобы получился занимательный фильм, развивающийся без всяких помех, карающий в начале добродетель, а в конце – порок, совершенно естественный в своей условности и, главное, снабженный неожиданной, но все разрешающей развязкой. Вот точно так же и темы жизни мы меняем по-своему, стремясь к какой-то условной гармонии, к художественной сжатости. Приправляем наш пресный плагиат собственными выдумками. Нам кажется, что жизнь творит слишком размашисто и неровно, что ее гений слишком неряшлив, мы в угоду нашим читателям выкраиваем из ее свободных романов наши аккуратные рассказы, – *ad usum delphini*. Позвольте же по этому поводу вам сообщить следующий случай.

Ехал я в экспрессе, в спальном вагоне. Я очень люблю дорожное новоселье, – холодноватое белье на койке, фонари станции, которые тронувшись медленно проходят за черным стеклом окна. Было мне приятно, помнится, что надо мной, на верхней койке, никого нет. Раздевшись, я лег навзничь, подложил под затылок руки, – и легкость узкого казенного одеяла была прямо-таки сладостна после пухлости отельных перин. Помечтав кое о чем, – мне о ту пору хотелось писать повесть из жизни вагонных уборщиц, – я выключил свет и очень скоро уснул. И тут разрешите мне употребить прием, частенько встречающийся в таких именно рассказах, каким обещает быть мой. Вот он, – этот старый, хорошо вам известный прием. “Среди ночи я внезапно проснулся”. Впрочем, дальше следует кое-что посвежее. Я проснулся и увидел ногу.

– Виноват? – переспросил скромный критик, подавшись вперед и подняв указательный палец.

– Я увидел ногу, – повторил писатель. – Отделение было освещено, и поезд стоял на какой-то станции. Нога была мужская, крупная, в грубом пестром носке, продырявленном синеватым ногтем большого пальца. Она плотно стояла на лесенке у самого моего лица, и ее обладатель, скрытый от меня навесом верхней койки, как раз собирался сделать последнее усилие, чтобы взобраться на свою галерку. Я успел хорошенько рассмотреть эту ногу, серый в черную клетку носок, фиолетовую ижицу подвязки сбоку на толстой икре. Сквозь трико длинного подштанника неприятно торчали волоски. Вообще нога была препротивная. Пока я на нее смотрел, она напряглась, пошевелила раза два цепким большим пальцем, наконец сильно оттолкнулась и взвилась наверх. Там, наверху, послышалось кряхтение, посапывание, – все звуки, по которым я мог судить о том, что человек укладывается спать. Затем свет погас, и через несколько мгновений поезд тронулся.

Я не знаю, как вам объяснить, – эта нога произвела на меня впечатление гнетущее. Пестрая, мягкая гадина. И меня тревожило то, что из всего человека я знал только эту недобрую ногу, а фигуры, лица так и не увидел. Его койка, которая образовывала надо мной низкий, темный потолок, теперь казалась ниже, я словно ощущал ее тяжесть. Как я ни старался представить себе облик моего ночного спутника, все у меня торчал перед глазами этот крупный ноготь, блестящий синеватым перламутром сквозь дырку шерстяного носка. Вообще странно, конечно, что такие пустяки могли меня волновать, – но ведь, с другой стороны, не есть ли всякий писатель именно человек, волнуемый по пустякам? Как бы то ни было, сон ко мне не шел. Я прислушивался, – не храпит ли мой неведомый пассажир? Мне

показалось, что он не храпит, а стонет, – но, как известно, ночной колесный стук поощряет галлюцинации слуха. Однако я не мог отделаться от впечатления, что там, надо мной, раздаются какие-то необыкновенные звуки. Я слегка приподнялся. Звуки стали яснее. Человек на верхней койке рыдал.

– Как вы сказали? – прервал критик. – Рыдал? Так, так. Простите, я не расслышал. – И, снова уронив руки на колени и склонив набок голову, он продолжал слушать рассказчика.

– Да, он рыдал, – и его рыдания были ужасны. Рыдания душили его, он шумно выпускал воздух, как будто выпив залпом литр воды, и за этим следовало быстрое всхлипывание с закрытым ртом, какая-то страшная пародия на кудахтание, – и опять вдыхание, и опять мелкие рыдающие выдохи, но уже с открытым ртом, – судя по хахакающему звуку. И все это на шатком фоне колесной стукотни, ставшей тем самым как бы движущейся лестницей, по которой всходили и спускались его рыдания. Я лежал не шевелясь и слушал, – и при этом чувствовал, что у меня в темноте преглупое лицо: всегда становится неловко, когда рыдает чужой человек. А тут еще я был невольно связан с ним тем, что мы лежим на двух полках, в одном и том же отделении, в одном и том же безучастно мчавшемся поезде. И он не унижался, – это ужасное трудное всхлипывание не отставало от меня: мы оба, я – внизу – слушающий, – он – наверху – рыдающий, летели боком в ночную даль со скоростью восьмидесяти километров в час, и только железнодорожная катастрофа могла бы расцезь нашу невольную связь. Потом он как будто перестал, – но только я собрался уснуть, снова закатили его рыдания, и мне казалось даже, что вперемежку со всхлипывающими вздохами он произносит какие-то слова, нутряным голосом, животом. Он снова замолк, только посапывал; и я лежал с закрытыми глазами и видел в воображении его отвратительную ногу в клетчатом носке. Я все-таки уснул, а в половине шестого утра проводник рванул дверь, разбудил меня, и, сидя на койке, поминутно стучаясь головой о край верхней койки, я стал поспешно одеваться. Перед тем как выйти с чемоданами в коридор, я оглянулся на верхнюю койку, но он лежал ко мне спиной, накрывшись с головой одеялом. В коридоре было светло, солнце только что встало, синяя, свежая тень поезда бежала по траве, по кустам, изгибаясь, взлетала на скаты, рябила по стволам мелькающих берез, – и ослепительно просиял удлиненный прудок посредине поля, медленно сузился, превратился в серебряную щель, и с быстрым грохотом проскочил домик, шлагбаум, хлестнула хвостом дорога, – и опять замелькали пятнистым частоколом, от которого кружилась голова, бесчисленные, солнцем испещренные березы. Кроме меня, в коридоре стояли две заспанные, наскоро покрашенные дамы и старичок в замшевых перчатках и дорожном картузе. Я ненавижу вставать рано, – упоительнейший рассвет в мире не может мне заменить часы сладкого утреннего сна, – и поэтому я только хмуро кивнул, когда старичок обратился ко мне: “Вы тоже вылезаете в...?” И он назвал большой город, куда мы должны были приехать через десять – пятнадцать минут.

Березы вдруг рассеялись, полдюжины домишек посыпали с холма, едва второпях не попав под поезд, затем прошагала, блистая стеклами, огромная багровая фабрика, чей-то шоколад окликнул нас с пятисаженного объявления, опять фабричный корпус, стекла, трубы, одним словом, происходило все то, что происходит, когда подъезжаешь к большому городу. Но вот, к нашему удивлению, поезд судорожно затормозил и остановился на пустынном полустанке, где, казалось бы, экспрессу нечего делать. Меня удивило и то, что на платформе стоят несколько полицейских. Я опустил оконную раму и высунулся. – “Закройте окно”, – вежливо сказал один из них. Люди в коридоре заволновались. Прошел кондуктор; я спросил, в чем дело. “В поезде находится преступник”, – ответил он и кратко объяснил на ходу, что в городе, через который мы проезжали ночью, случилось накануне убийство, – муж застрелил жену и ее любовника. Дамы ахнули, старичок покачал головой. В коридор вошли двое полицейских и краснощекий кругленький сыщик в котелке, похожий на букмекера. Меня попросили вернуться в купе. Полицейские остались стоять в коридоре, а сыщик принялся обходить отделения. Я показал ему паспорт. Он скользнул рыжими глазами по моему лицу и отдал мне бумаги. Мы стояли в тесном купе, на верхней койке неподвижно лежала темная, завернутая с головой фигура. “Вы можете выйти”, – сказал мне сыщик и протянул руку наверх на койку. “Ваши бумаги, пожалуйста”. Фигура в одеяле храпела. Стоя у открытой двери, я слушал этот храп, и мне казалось, что в нем еще просвистывают отзвуки

ночных рыданий. “Пожалуйста, проснитесь”, – громче сказал сыщик и каким-то профессиональным жестом дернул за край серого одеяла, у шеи спящего. Тот шевельнулся, но продолжал храпеть. Сыщик потряс его за плечо. Мне стало не по себе, я отвернулся и принялся глядеть в коридорное окно, но ничего не видел, а всем существом слушал, что происходит в купе.

И представьте себе, я не услышал ровно ничего особенного. Сонно заворчал человек на верхней койке, сыщик отчетливо потребовал документы, отчетливо поблагодарил, вышел из купе, вошел в следующее. Вот и все. А ведь казалось, как вышло бы великолепно, – с точки зрения писателя, конечно, – если бы рыдающий пассажир с недобрыми ногами оказался убийцей, как великолепно можно было бы объяснить его ночные слезы, – и, главное, как великолепно все бы это уложилось в рамки моего ночного путешествия, в рамки короткого рассказа. Но, по-видимому, замысел автора, замысел жизни, был и в этом случае, как и всегда, стократ великолепнее.

Писатель вздохнул и замолк, посасывая давно потухшую, вконец разжеванную и замусленную папиросу. Критик глядел на него добрыми глазами.

– Признайтесь, – опять заговорил писатель, – вы были уверены, начиная с той минуты, когда я упомянул о полицейских на полустанке, что мой рыдающий пассажир – преступник?

– Я знаю вашу манеру, – сказал критик, кончиками пальцев коснувшись плеча собеседника и, свойственным ему жестом, сразу отдернув руку... – Если бы вы писали детективный рассказ, вы бы сделали искомым злодеем не того, кого никто из героев не подозревает, а того, кого с самого начала подозревают все, и тем самым провели бы опытного читателя, привыкшего к тому, что ларчик открывается непросто. Я знаю, что впечатление неожиданности вы любите давать путем самой естественной развязки. Но не слишком увлекайтесь этим. В жизни много случайного, но и много необычайного. Слову дано высокое право из случайности создавать необычайность, необычайное делать не случайным. Из данного случая, из данных случайностей вы могли бы сделать вполне законченный рассказ, если бы превратили вашего пассажира в убийцу.

Писатель опять вздохнул:

– Да-да, я об этом думал. Я прибавил бы несколько деталей. Я намекнул бы на то, что убийца страстно любил жену. Мало ли что можно придумать. Но горе в том, что неизвестно, может быть, жизнь имела в виду нечто совсем другое, нечто куда более тонкое, глубокое. Горе в том, что я не узнал, почему рыдал пассажир, и никогда этого не узнаю...

– Я заступаюсь за слово, – мягко сказал критик. – Вы, писатель, по крайней мере, сождали бы яркое разрешение. Ваш герой, может статься, плакал потому, что потерял бумажник на вокзале. У меня был знакомый, – взрослый мужчина необычайно воинственной наружности, – который плакал в голос, когда у него болели зубы. Нет-нет, спасибо. Больше мне не наливайте. Достаточно, вполне достаточно.

12. КАТАСТРОФА

В зеркальную мглу улицы убежал последний трамвай, и над ним, по проволоке, с треском и трепетом стремилась вдаль бенгальская искра, лазурная звезда.

– Что ж, поплетемся пешком, хотя ты очень пьян, Марк, очень пьян...

Искра потухла. Крыши под луной лоснились: серебряные углы, косые провалы мрака.

Сквозь темный блеск шел он домой, – Марк Штандфусс, приказчик, полубог, светловолосый Марк, счастливцев в высоком крахмальном воротнике. Над белой полоской, сзади, волосы кончались смешным неподстриженным хвостиком, как у мальчика. За этот хвостик Клара и полюбила его, – да, клялась, что любит, что забыла стройного, нищего иностранца, снимавшего в прошлом году комнату у госпожи Гайзе, ее матери.

– И все-таки, Марк, ты пьян...

Сегодня друзья чествовали пивом и песнями Марка и рыжую, бледную Клару, – а через неделю будет их свадьба, и потом до конца жизни – счастье и тишина, и ночью рыжий пожар, рассыпанный по подушке, а утром – опять тихий смех, зеленое платье, прохлада оголенных рук.

Посреди площади – черный вигвам, красный огонек: починяют рельсы. Он вспомнил, как сегодня целовал ее под короткий рукав, в тот трогательный след, что остался от прививки оспы. И теперь шел домой, пошатываясь от счастья и хмеля, размахивая тонкой тростью, и в темных домах по той стороне пустынной улицы хлопало ночное эхо в такт его шагов, а потом смолкло, когда он повернул за угол, где у решетки стоял все тот же человек в переднике и картузе, продавец горячих сосисок, и высвистывал по-птичьи, нежно и грустно: вюрстхен... вюрстхен...

Марку стало сладостно жаль сосисок, луны, голубой искры, пробежавшей по проволоке, – и, прислонясь к забору, он весь сжался, напрягся и вдруг, помирая со смеху, выдул в круглую щелку: “Клара... Клара... о, Клара, моя милая...”

А за черным забором, в провале между домов, был квадратный пустырь: там, что громадные гроба, стояли мебельные фургоны. Их раздуло от груза. Бог весть, что было навалено в них. Дубовые баулы, верно, да люстры, как железные пауки, да тяжкие костяки двухспальной кровати. Луна обдавала их крепким блеском. А слева, на задней голой стене дома, распластались гигантские черные сердца, – увеличенная во много раз тень липы, стоявшей близ фонаря на краю тротуара.

Марк все еще посмеивался, когда всходил по темной лестнице на пятый этаж. Вступив на последнюю ступеньку, он ошибся, поднял еще раз ногу – и опустил ее неловко, с грохотом. Пока он шарил в потемках по двери, отыскивая замочную скважину, бамбуковая тросточка выскочила из-под мышки и, легко постукивая, скользнула вниз, по ступенькам. Марк затаил дыхание. Думал, – трость повернет, там, где поворачивает лестница, и, постукивая, докатится до самого низу. Но тонкий деревянный звон внезапно замер. Остановилась, мол. Он облегченно усмехнулся и, держась за перила, – пиво глухо пело в голове – стал спускаться обратно, наклонился, чуть не упал, тяжело сел на ступень, шаря вокруг себя ладонями.

Наверху дверь на площадку открылась; госпожа Штандфусс, – керосиновая лампа в руке, сама полуодетая, глаза мигающие, дым волос из-под чепца – вышла, позвала: ты, Марк?

Желтый клин света захватил перила, ступени, трость, – и Марк, тяжело и радостно дыша, поднялся на площадку, а по стене поднялась за ним его черная, горбатая тень.

Потом, в полутемной комнате, перегородженной красной ширмой, был такой разговор:

– Ты слишком много пил, Марк...

– Ах нет, мама... Такое счастье...

– Ты перепачкался, Марк. У тебя ладонь черная...

–...такое счастье... А, хорошо... – холодная. Полей на макушку... Еще... Меня все поправляли, – да и есть с чем... Еще полей...

– Но, говорят, она так недавно любила другого... иностранца, проходимца какого-то. Пяти марок не доплатил госпоже Гайзе...

– Оставь... Ты ничего не понимаешь... Мы сегодня так много пели. Пуговица оторвалась, смотри... я думаю, мне удвоят жалованье, когда женюсь...

– Ложись, ложись... Весь грязный... новые штаны...

В эту ночь Марку приснился неприятный сон. Он увидел покойного отца. Отец подошел, со странной улыбкой на бледном, потном лице, и, схватив Марка под руки, стал молча сильно щекотать его, – не отпуская.

Только уже придя в магазин, вспомнил он этот сон, вспомнил оттого, что приятель, веселый Адольф, пальцем ткнул его в ребра. На миг в душе распахнулось что-то, удивленно застыло и захлопнулось опять. Опять стало легко и ясно, и галстуки, которые он предлагал, ярко улыбались, сочувствовали его счастью. Он знал, что вечером увидит Клару, – вот только забежит домой поужинать, – а потом сразу к ней... На днях, когда он рассказывал ей о том, как они уютно и нежно будут жить, она неожиданно расплакалась. Конечно, Марк понял, что это слезы счастья, – так она и объяснила ему, – а потом закружилась по комнате, – юбка – зеленый парус, – и быстро-быстро стала приглаживать перед зеркалом яркие волосы свои, цвета абрикосового варенья. И лицо было растерянное, бледное – тоже от счастья. Это ведь так понятно...

– В полоску? извольте...

Он завязывал на руке галстук, поворачивал руку туда-сюда, соблазняя покупателя. Быстро открывал плоские картонные коробки...

А в это время у матери его сидела гостя, госпожа Гайзе. Она пришла ненароком, и лицо было заплаканное. Осторожно, словно боясь разбиться, опустилась на табурет в крохотной, чистенькой кухне, где госпожа Штандфусс мыла тарелки. На стене висела плоская деревянная свинья, и спичечная коробка с одной обгорелой спичкой валялась на плите.

– Я пришла к вам с дурной вестью, госпожа Штандфусс.

Та замерла, прижав к груди тарелку.

– Это насчет Клары. Вот. Она сегодня, как безумная. Вернулся тот жилец, – помните, рассказывала. И Клара потеряла голову. Да, сегодня утром... Она не хочет больше видеть никогда вашего сына... вы ей подарили материю на платье, будет возвращено. И вот – письмо для Марка. Клара с ума сошла. Я не знаю...

А Марк, кончив службу, уже шел восвояси, и ежом остриженный Адольф проводил его до самого дома. Оба остановились, пожали друг другу руки, и Марк плечом толкнул дверь в прохладную пустоту.

– Куда ты? Плюнь... вместе закусим где-нибудь.

Адольф лениво опирался на трость, как на хвост.

– Плюнь, Марк...

Тот нерешительно потер щеку, потом засмеялся...

– Хорошо... Но платить буду я.

Когда полчаса спустя он вышел из пивной и распрощался с приятелем, огненный закат млея в пролете канала, и влажный мост вдали был окаймлен тонкой золотой чертой, по которой проходили черные фигурки.

Посмотрев на часы, он решил не заходить домой, а прямо ехать к невесте. От счастья, от вечерней прозрачности чуть кружилась голова. Оранжевая стрела проткнула лакированный башмак какого-то франта, выскочившего из автомобиля. Еще не высохшие лужи, окруженные темными подтеками, – живые глаза асфальта – отражали нежный вечерний пожар. Дома были серые, как всегда, но зато крыши, лепка над верхними этажами, золотые громовотводы, каменные купола, столбики, – которых днем не замечаешь, так как люди днем редко глядят вверх, – были теперь омыты ярким охряным блеском, воздушной теплотой вечерней зари, и оттого волшебными, неожиданными казались эти верхние выступы, балконы, карнизы, колонны, – резко отделяющиеся желтой яркостью своей от тусклых фасадов внизу.

“О, как я счастлив, – думал Марк, – как все чувствует мое счастье”.

Сидя в трамвае, он мягко, с любовью, разглядывал своих спутников. Лицо у него было такое молодое, с розовыми прыщиками на подбородке, счастливые, светлые глаза, неподстриженный хвостик в лунке затылка... Казалось, судьба могла бы его пощадить.

“Я сейчас увижу Клару, – думал он. – Она встретит меня у порога. Скажет, что весь день скучала без меня, едва дожидая до вечера”.

Встрепнулся. Проехал остановку, где должен был слезть. По пути к площадке споткнулся о ноги толстого человека, читавшего медицинский журнал; хотел приподнять шляпу и чуть не упал, – трамвай с визгом поворачивал. Удержался за висячий ремень. Господин медленно втянул короткие ноги, сердито и жирно заурчал. Усы у него были седые, воинственно загнутые кверху. Марк виновато улыбнулся и вышел на площадку. Схватился обеими руками за железные поручни, подался вперед, рассчитывая прыжок. Внизу гладким, блестящим потоком стремился асфальт. Марк спрыгнул. Обожгло подошвы, и ноги сами побежали, принужденно и звучно топая. Одновременно произошло несколько странных вещей... Кондуктор с площадки откатнувшегося трамвая яростно крикнул что-то, блестящий асфальт взмахнул, как доска качели, гремящая громада налетела сзади на Марка. Он почувствовал, словно толстая молния проткнула его с головы до пят, – а потом – ничего. Стоял один посреди лоснящегося асфальта. Огляделся. Увидел поодаль свою же фигуру, худую спину Марка Штандфусса, который, как ни в чем не бывало шел наискось через улицу. Дивясь, одним легким движением он догнал самого себя, и вот уже сам шел к панели, весь полный остывающего звона.

– Тоже... чуть не попал под омнибус...

Улица была широкая и веселая. Полнеба охватил закат. Верхние ярусы и крыши домов

были дивно озарены. Там, в вышине, Марк различал сквозные портики, фризы и фрески, шпалеры оранжевых роз, крылатые статуи, поднимающиеся к небу золотые, нестерпимо горящие лиры. Волнуясь и блистая, празднично и воздушно уходила в небесную даль вся эта зодческая прелесть, и Марк не мог понять, как раньше не замечал он этих галерей, этих храмов, повисших в вышине.

Больно ударился коленом. Черный знакомый забор. Рассмеялся: ах, конечно, – фургоны... Стояли они, как громадные гроба. Что же скрыто в них? Сокровища, костяки великанов? Пыльные груды пышной мебели?

– Нет, надо посмотреть... А то Клара спросит, а я не буду знать...

Он быстро толкнул дверь фургона, вошел. Пусто. Только посредине косо стоит на трех ножках маленький соломенный стул, одинокий и смешной.

Марк пожал плечами и вышел с другой стороны. Снова хлынул в глаза жаркий вечерний блеск. И впереди знакомая чугунная калитка, и дальше окно Клары, пересеченное зеленой веткой. Клара сама открыла калитку, подняла оголенные локти, – и ждала, оправляя прическу. Рыжий пух сквозил в солнечных проймах коротких рукавов.

Марк, беззвучно смеясь, с разбегу обнял ее, прижался щекой к теплому, зеленому шелку.

Ее ладони легли ему на голову.

– Я весь день так скучала, Марк. И вот теперь ты пришел.

Она отворила дверь, и Марк сразу очутился в столовой, показавшейся ему необыкновенно просторной и светлой.

– Мы так счастливы теперь, что мы можем обойтись без прихожей, – горячо зашептала Клара, и он почувствовал какой-то особый чудесный смысл в ее словах.

А в столовой, вокруг снежного овала скатерти, сидело множество людей, которых Марк никогда еще не встречал у своей невесты. Среди них был Адольф, смуглый, с квадратной головой; был и тот коротконогий, пузатый, все еще урчащий человек, читавший медицинский журнал в трамвае.

Застенчиво поклонившись всем, он сел рядом с Кларой, – и в тот же миг почувствовал, как давеча, удар неистойвой боли, прокатившей по всему телу. Рванулся он, – и зеленое платье Клары поплыло, уменьшилось, превратилось в зеленый стеклянный колпак лампы. Лампа качалась на висячем шнуре. А сам Марк лежал под нею, – и такая грузная боль давила на грудь, такая боль – и ничего не видать, кроме зыбкой лампы, – и в сердце упираются ребра, мешают вздохнуть, – и кто-то, перегнув ему ногу, ломает ее, натужился, сейчас хряснет. Он рванулся опять, – лампа расплылась зеленым сиянием, и Марк увидел себя самого, поодаль, сидящего рядом с Кларой – и не успел увидеть, как уже сам касался коленом ее теплой шелковой юбки. И Клара смеялась, закинув голову.

Он захотел рассказать, что сейчас произошло, и, обращаясь ко всем присутствующим, к веселому Адольфу, к сердитому толстяку, с трудом проговорил:

– Иностранец на реке совершает вышеуказанные молитвы...

Ему показалось, что он все объяснил, и, видимо, все поняли... Клара, чуть надув губы, потрепала его по щеке:

– Мой бедный... Ничего...

Он почувствовал, что устал, хочет спать. Обнял Клару за шею, притянул, откинулся назад. И тогда опять хлынула боль, и все стало ясно.

Марк лежал забинтованный, исковерканный, лампа не качалась больше. Знакомый усатый толстяк, доктор в белом балахоне, растерянно урча, заглядывал ему в зрачки. И какая боль... Господи, сердце вот-вот наткнется на ребра и лопнет... Господи, сейчас... Это глупо. Почему нет Клары...

Доктор поморщился и щелкнул языком.

А Марк уже не дышал, Марк ушел, – в какие сны – неизвестно.

13. БЛАГОСТЬ

Мастерскую я унаследовал от фотографа. У стены еще стояло лиловатое полотно,

изображавшее часть балюстрады и белесую урну на фоне мутного сада. В плетеном кресле, словно у входа в эту гушевую даль, я и просидел до утра, думая о тебе. На рассвете стало очень холодно. Постепенно выплыли из темноты в пыльный туман глиняные болванки, – одна, твое подобие, обмотанная мокрой тряпкой. Я прошел через эту туманную светлицу – что-то крошилось, потрескивало под ногами, – и концом длинного шеста зацепил и открыл одну за другой черные занавески, висевшие как ключья рваных знамен, вдоль покатога стекла. Впустив утро – прищуренное, жалкое, – я рассмеялся, сам не зная чему, – быть может тому, что вот я всю ночь просидел в плетеном кресле, среди мусора, гипсовых осколков, в пыли высохшего пластилина, – и думал о тебе.

Когда при мне произносили твое имя, вот какое чувство я испытывал: удар черноты, душистое и сильное движенье; так ты заламывала руки, оправляя вуаль. Любил я тебя давно, а почему любил – не знаю. Лживая и дикая, живущая в празднои печали.

Недавно я нашел на столике у тебя в спальне пустую спичечную коробку; на ней был надгробный холмик пепла и золотой окурок, грубый, мужской. Я умолял тебя объяснить. Ты нехорошо смеялась. И потом расплакалась, и я, все простив тебе, обнимал твои колени, прижимался мокрыми ресницами к теплому черному шелку. После этого я две недели не видел тебя.

Осеннее утро мерцало от ветра. Я бережно поставил шест в угол. В широкий пролет окна видны были черепичные крыши Берлина – очертанья их менялись, благодаря неверным внутренним переливам стекла, – и среди крыш бронзовым арбузом вздымался дальний купол. Облака летели и прорывались, обнажая на мгновение легкую изумленную осеннюю синеву. Накануне я говорил с тобой в телефон. Не выдержал, сам позвонил. Условились встретиться сегодня, у Бранденбургских ворот. Голос твой сквозь пчелиный гуд был далек и тревожен. Скользил, пропадал. Я говорил с тобой, плотно зажмурившись, и хотелось плакать. Моя любовь к тебе была бьющейся, восходящей теплотой слез. Рай представлялся мне именно так: молчанье и слезы, и теплый шелк твоих колен. Ты понять это не могла.

Когда после обеда я вышел на улицу – встретить тебя, – голова закружилась от сухого воздуха, от потоков желтого солнца. Каждый луч отдавался в висках. По панели, с шорохом, торопливо, вперевалку, бежали большие рыжие листья.

Я шел и думал о том, что верно на свиданье ты не придешь. А если и придешь, то все равно опять поссоримся. Я умел только лепить и любить. Тебе было мало этого.

Вот и грузные ворота. Сквозь проймы их протискивались толстобокие автобусы и катились дальше вдоль бульвара, уходящего вдаль, в тревожный синий блеск ветреного дня. Я ждал тебя под тяжелой сенью, между холодных колонн, у железного окна гауптвахты. Было людно: шли со службы берлинские чиновники, нечисто выбритые, у каждого под мышкой портфель, в глазах – мутная тошнота, что бывает, когда натошак выкуришь плохую сигару. Без конца мелькали их усталые и хищные лица, высокие воротнички. Прошла дама в красной соломенной шляпе, в пальто из серого барашка, юноша в бархатных штанах с пуговицами пониже колен. И еще другие.

Я ждал, опираясь на трость, в холодной тени угловых колонн. Я не верил, что ты придешь.

А у колонны, неподалеку от окна гауптвахты, был лоток – открытки, планы, веера цветных снимков, – а рядом на табурете сидела коричневая старушка, коротконогая, полная, с круглым, рябым лицом, – и тоже ждала.

Я подумал: кто из нас первый дождется, кто раньше явится – покупатель или ты. У старушки был вид вот какой: “Я ничего, я так, случайно присела тут; правда, рядом какой-то лоток – очень хорошие, любопытные вещицы. Но я – ничего...”

Люди без конца проходили между колонн, огибая угол гауптвахты; иной взглянет на открытки. Тогда старушка вся напрягалась, впивалась яркими крохотными глазами в лицо прохожего, словно внушала ему: купи, купи... – но тот, окинув взглядом цветные и серые снимки, шел дальше, и она, как бы равнодушно, опускала глаза, продолжала читать красную книгу, что держала на коленях.

Я не верил, что ты придешь. Но ждал тебя, как не ждал никогда, тревожно курил, заглядывал за ворота на чистую площадь в начале бульвара; и снова отходил в свой угол, стараясь не подавать виду, что жду, стараясь представить себе, что вот, пока я не гляжу, ты

идешь, приближаешься, что если опять взгляну туда, за угол, то увижу твою котиковую шубу, черное кружево, свисающее с края шляпы на глаза, – и нарочно не смотрел, дорожил самообманом.

Хлынул холодный ветер. Старушка встала, принялась вставлять плотнее свои открытки. На ней было что-то вроде короткого тулупчика – желтый плюш, сборки у поясницы. Подол коричневой юбки был подтянут спереди выше, чем сзади, и потому казалось, что она ходит, выпятив живот. Я различал добрые, тихие складки на маленькой круглой шляпе, на потертых утиных сапожках. Она деловито возилась у лотка. Рядом, на табурете, осталась книга – путеводитель по Берлину, – и осенний ветер рассеянно поворачивал страницы, трепал план, выпавший из них ступеньками.

Мне становилось холодно. Папироса тлела криво и горько. Волны неприязненной прохлады обдавали грудь. Покупатель не шел.

А старушка уселась снова, и так как табурет был слишком для нее высок, ей пришлось сперва поерзать, подошвы ее тупых сапожков попеременно отделялись от панели. Я кинул прочь папиросу, подхватил ее концом трости: огненные брызги.

Прошло уже с час, – быть может больше. Как я мог думать, что ты придешь? Небо незаметно превратилось в одну сплошную тучу, и прохожие шли еще поспешнее, горбились, придерживали шапки, дама, переходившая площадь, открыла на ходу зонтик... Было бы просто чудо, если б ты теперь пришла.

Старушка, аккуратно переложив в книгу закладку, как будто призадумалась. Мне кажется, ей представлялся иностранец-богач из Адлона, который купил бы весь ее товар, и переплатил, и заказал бы еще и еще видовых открыток, путеводителей всяких. И ей, вероятно, нетепло было в этом плюшевом тулупчике. Но ты ведь обещала прийти. Мне вспоминался телефон, бегущая тень твоего голоса. Господи, как мне хотелось тебя видеть. Снова хлынул недобрый ветер. Я поднял воротник.

И вдруг окно гауптвахты отворилось, и зеленый солдат окликнул старушку. Она быстро сползла с табурета и, выпятив живот, подкатилась к окну. Солдат покойным движением подал ей дымящуюся кружку и прикрыл раму. Повернулось и ушло в темную глубину его зеленое плечо.

Старушка, бережно неся кружку, вернулась к своему месту. Это был кофе с молоком – если судить по коричневой бахrome пенки, приставшей к краю.

И она стала пить. Я никогда не видал, чтобы пил человек с таким совершенным, глубоким, сосредоточенным наслаждением. Она забыла свой лоток, открытки, холодный ветер, американца, – и только потягивала, посасывала, вся ушла в кофе свой, точно так же, как и я забыл свое ожидание и видел только плюшевый тулупчик, потускневшие от блаженства глаза, короткие руки в шерстяных митенках, сжимавшие кружку. Она пила долго, пила медленными глотками, благоговейно слизывала бахрому пенки, грела ладони о теплую жесьть. И в душу мою вливалась темная, сладкая теплота. Душа моя тоже пила, тоже грелась, – и у коричневой старушки был вкус кофе с молоком.

Допила. На мгновенье застыла. Потом встала и направилась к окну, – отдать пустую кружку.

Но не доходя она остановилась. Ее губы собрались в улыбочку. Быстро подкатилась она обратно к лотку, выдернула две цветные открытки и, снова подбежав к железной решетке окна, мягко постучала шерстяным кулачком по стеклу. Решетка отпахнулась, скользнул зеленый рукав с блестящей пуговицей на обшлагае, и старушка сунула в черное окно кружку, открытки и торопливо закивала. Солдат, разглядывая снимки, отвернулся в глубину, медленно прикрывая за собою раму.

Тогда я почувствовал нежность мира, глубокую благодать всего, что окружало меня, сладостную связь между мной и всем сущим, – и понял, что радость, которую я искал в тебе, не только в тебе таится, а дышит вокруг меня повсюду, в пролетающих уличных звуках, в подоле смешно подтянутой юбки, в железном и нежном гудении ветра, в осенних тучах, набухающих дождем. Я понял, что мир вовсе не борьба, не череда хищных случайностей, а мерцающая радость, благодостное волнение, подарок, не оцененный нами.

И в этот миг, наконец, ты пришла, вернее не ты, а чета немцев, – он в непромокаемом плаще, ноги в длинных чулках – зеленые бутылки, – она худая, высокая, в пантеровом

пальто. Они подошли к лотку, мужчина стал выбирать, и моя кофейная старушка, раскрасневшись, напыжившись, глядела то в глаза ему, то на открытки, суетливо, напряженно работая бровями, как делает старый извозчик, всем телом своим подгоняющий клячу. Но не успел немец выбрать, как его жена пожала плечом, оттянула его за рукав, – и тогда-то заметил я, что она на тебя похожа, – сходство было не в чертах, не в одежде, – а вот в этой брезгливой недоброй ужимке, в этом скользком и равнодушном взгляде. И оба они пошли дальше, ничего не купивши, – а старушка только улыбнулась, вставила обратно открытки, углубилась опять в свою красную книгу. Мне незачем было дольше ждать. Я пошел прочь по вечеряющим улицам, заглядывал в лица прохожим, ловил улыбки, изумительные маленькие движения, – вот прыгает косица девчонки, бросающей мячик о стену, вот отразилась божественная печаль в лиловатом овальном глазу у лошади; ловил я и собирал все это, и крупные, косые капли дождя учащались, и вспомнился мне прохладный уют моей мастерской, вылепленные мною мышцы, лбы и пряди волос, и в пальцах я ощутил мягкую щекотку мысли, начинающей творить.

Стемнело. Летал дождь. Ветер бурно встречал меня на поворотах. А потом лязгнул и просиял янтарными стеклами трамвайный вагон, полный черных силуэтов, – и я вскочил на ходу, стал вытирать руки, мокрые от дождя.

В вагоне люди сидели нахохлясь, сонно покачиваясь. Черные стекла были в мелких, частых каплях дождя, будто сплошь подернутое бисером звезд ночное небо. Гремели мы вдоль улицы, обсаженной шумными каштанами, и мне все казалось, что влажные ветви хлещут по окнам. А когда трамвай останавливался, то слышно было, как стукались наверху об крышу срываемые ветром каштаны: ток – и опять, упруго и нежно: ток... ток... Трамвай трезвонил и трогался, и в мокрых стеклах дробился блеск фонарей, и я ждал с чувством пронзительного счастья повторения тех высоких и кротких звуков. Удар тормоза, остановка, – и снова одиноко падал круглый каштан, – погода падал и второй, стукаясь и катясь по крыше: ток... ток...

14. КАРТОФЕЛЬНЫЙ ЭЛЬФ

1

А на самом деле имя его было Фредерик Добсон. Приятелю своему, фокуснику, он рассказывал о себе так:

“Кто в Бристоле не знал детского портного Добсона? Я – сын его. Горжусь этим только из упрямства. Надо вам сказать, что отец мой пил, как старый кит. Однажды, незадолго до моего рождения, он, пожираемый джином, сунул матери моей в постель эдакую, знаете, восковую фигуру, – матросика, лицо херувима и первые длинные штаны. Бедняжка чудом не выкинула... Вы сами понимаете что все это я знаю понаслышке, – но, если мне не наврали добрые люди, вот, кажется, тайная причина того, что...”

И Фред Добсон печально и добродушно разводил ладошками. Фокусник со своей обычной мечтательной улыбкой наклонялся, брал Фреда на руки и, вздохнув, ставил его на верхушку шкафа, где Картофельный Эльф, покорно свернувшись в клубок, начинал тихо почихивать и скулить.

Было ему двадцать лет от роду, весил он около десяти килограммов, а рост его превышал лишь на несколько сантиметров рост знаменитого швейцарского карлика Циммермана, по прозвищу Принц Бальтазар. Как и коллега Циммерман, Фред был отлично сложен, и, – если бы не морщинки на круглом лбу и вокруг прищуренных глаз, да еще этот общий немножко жуткий вид напряженности, словно он крепился, чтобы не расти, – карлик бы совсем походил на тихого восьмилетнего мальчика. Волосы его цвета влажной соломы были прилизаны и разделены ровной нитью пробора, который шел как раз посередине головы, чтобы вступить в хитрый договор с макушкой. Ходил Фред легко, держался свободно и недурно танцевал, но первый же антрепренер, занявшийся им, счел нужным отяжелить смешным эпитетом понятие “эльфа”, когда взглянул на толстый нос, завещанный карлику его полнокровным озорным отцом.

Картофельный Эльф одним своим видом возбудил ураган рукоплесканий и смеха по всей Англии, а затем и в главных городах на материке. В отличие от других карликов, он был нраву кроткого, дружелюбного, – очень привязался к той крохотной пони – Снежинке, – на которой прилежно трусил по арене голландского цирка, – а в Вене покорила сердце глупого и унылого великана, родом из Омска, тем, что при первой встрече потянулся к нему и по-детски попросил: “Я хочу на ручки”.

Выступал он обыкновенно не один. Так, в Вене карлик появлялся вместе с великаном, семенил вокруг него, тщательно одетый, в полосатых штанах, в ловком пиджачке, с большим свитком нот под мышкой. Он подавал великану гитару. Тот стоял как Громадная кукла, механическим движением брал инструмент. Длинный сюртук, словно вырезанный из черного дерева, высокие каблуки, цилиндр, схваченный прямыми отблесками, – еще увеличивали рост стройного девятипудового сибиряка. Выпятив могучую челюсть, он бил пальцем по струнам. В антрактах, как женщина, жаловался на головокружения. Фред очень его любил и даже всплакнул при расставании, так как быстро привыкал к людям. Жизнь его шла по кругу, мерно и однообразно, как цирковая лошадь. Однажды, в потемках кулис, он споткнулся о ведро с малярной краской и мягко в него плюхнулся. Он потом долго это вспоминал, как нечто необыкновенное.

Так объехал карлик большую часть Европы, и откладывал деньги, пел серебряным евнушьюм дискантом, и в немецких театрах публика ела бутерброды и орехи на соломинках, а в испанских – засахаренные фиалки и тоже орехи на соломинках. Мира он не видел. В памяти у него осталось только: все та же безлика бездна, смеющаяся над ними, а затем – после спектакля – тихий, мечтательный раскат прохладной ночи, которая кажется такой синей, когда выходишь из театра.

Вернувшись в Лондон, он нашел нового партнера, – фокусника, по имени Шок. У Шока был певучий голос, тонкие, бледные, как бы бесплотные руки и каштановый клин волос, спадающий на бровь. Он напоминал скорее поэта, нежели фокусника, и фокусы свои показывал с какой-то нежной и плавной печалью, без суетливой болтовни, свойственной его профессии. Картофельный Эльф ему смешно прислуживал, а под конец – с радостным воркующим возгласом появлялся в райке, хотя за минуту до того все видели, как фокусник его запер в черный ящик, стоявший посреди сцены.

Все это происходило в одном из тех лондонских театров, где появляются и акробаты, режущие в звенящем трепете трапеций, и иностранный тенор (неудачник на родине) с народными песнями, и чрево вещатель в морской форме, и велосипедисты, и неизменный, мягко шаркающий по сцене клоун-эксцентрик в крошечном котелке и в жилете до полу.

2

За последнее время Фред как-то помрачнел и все чихал, беззвучно и грустно, как японская собачонка. По целым месяцам не испытывая влечения к женщине, девственный карлик переживал изредка пронзительные приступы одинокой любовной тоски, которые проходили так же внезапно, как и вспыхивали, и снова на время он не замечал ни голых плеч, белеющих за бархатным барьером, ни маленьких акробаток, ни танцовщицы испанской, чьи ляжки обнажались на миг, когда при быстром кружении всхлестывал оранжевый пух ее кудрявых исподних воланов.

– Карлицу бы тебе, – задумчиво сказал Шок, привычным мазком вынув серебряную монету из уха карлика, который отмахнулся согнутой ручкой, словно сгонял муху.

И в эту ночь, когда, после своего номера, Фред в пальтишке и котелке, почихивая и урча, семенил за кулисами по тусклому коридору, – на вершок открывшаяся дверь внезапно брызнула веселым светом, и два голоса позвали его. Это были Зита и Арабелла, сестры-акробатки, обе полураздетые, смуглые, черноволосые, с длинными синими глазами. В комнате был беспорядок, театральная и трепетная пестрота, запах духов. На подзеркальнике валялись пуховки, гребни, граненый флакон с резиновой грушей, шпильки в коробке из-под шоколада, пурпурно-сальные палочки грима.

Сестры мгновенно оглушили карлика своим лепетом. Они щекотали и тискали Фреда,

который, весь надувшись темной кровью, смотрел исподлобья и, как шар, перекачивался между быстрых обнаженных рук, дразнивших его. И когда Арабелла, играя, притянула его к себе и упала на кушетку, Фред почувствовал, что сходит с ума и стал барахтаться и сопеть, вцепившись ей в шею. Откидывая его, она подняла голую руку, он рванулся, скользнул, присосался губами к бритой мышке, к горячей, чуть колючей впадине. Другая, Зита, помирая со смеху, старалась оттащить его за ногу; в ту же минуту со стуком отпахнулась дверь, и, в белом, как мраморе, трико, вошел француз, партнер акробатов. Молча и без злобы он цапнул карлика за шиворот, – только щелкнуло крахмальное крылышко, соскочившее с запонки, – поднял на воздух и, как обезьянку, выбросил его из комнаты. Захлопнулась дверь. Фокусник, бродивший по коридору, успел заметить белый блеск сильной руки и черную фигурку, поджавшую лапки на лету.

Фред больно стукнулся и теперь лежал неподвижно. Сознания он не потерял, – только весь как-то обмяк, смотрел в одну точку, мелко стучал зубами.

– Плохо, брат, – вздохнул фокусник, подняв его с полу и прозрачными пальцами потрагивая круглый лоб карлика. – Говорил тебе – не суйся. Вот и попало. Карлицу бы тебе...

Фред молчал, выпучив глаза.

– Переночуешь у меня, – решил Шок и, неся Картофельного Эльфа на руках, направился к выходу.

3

Существовала и госпожа Шок.

Это была дама неопределенных лет, темноглазая, с желтоватыми белками. Ее худоба, пергаментный оттенок кожи, черные сухие волосы, привычка выдувать через ноздри папиросный дым, обдуманная неряшливость платья и прически, – все это мужчин не привлекало, но, вероятно, нравилось фокуснику, хотя на самом деле он жены будто и не замечал, всегда занятый своими сокровенными вымыслами, зыбкий, ненастоящий, думавший о чем-то своем, когда говорил о пустяках, внимательный и зоркий, когда казался погруженным в астрологические мечты. Нора всегда была настороже, ибо он не мог пропустить случай, чтобы не сотворить обмана, мелкого, ненужного, но изысканно хитрого. Так, случалось, что за обедом он изумлял ее необычной прожорливостью, сочно чавкал, обсасывал кости, снова и снова накладывал себе полную тарелку, потом уходил, грустно взглянув на жену, – а погода горничная, хихикая в передник, докладывала, что господин Шок и не притрагивался к обеду, что весь его обед остался в трех новых кастрюлях под столом.

Она была дочь почтенного художника, писавшего только лошадей, пятнистых псов да охотников в красных фраках, и до свадьбы жила в Челси, восхищалась дымными закатами над Темзой, рисовала, посещала нелепые собрания, на которых бывала лондонская богема, – и там-то ее отметили призрачные глаза тихого, тонкого человека, который говорил мало и еще никому не был известен. Подозревали, что он лирический поэт. Она стремительно им увлеклась. Поэт рассеянно обручился с нею, а в первый же день после свадьбы объявил с печальной улыбкой, что стихов он писать не умеет, и тут же, во время разговора, превратил старый будильник в никелевый хронометр, а хронометр в крошечные золотые часики, которые Нора и носила с тех пор на кисти. Она понимала, что фокусник Шок все-таки поэт в своем роде, но только никогда не могла привыкнуть к тому, что он ежеминутно, при всех обстоятельствах жизни, проявляет свое искусство. Мудрено быть счастливой, когда муж – мираж, ходячий фокус, обман всех пяти чувств.

4

Она рассеянно стучала ногтем по стеклу банки, в которой несколько золотых рыбок, будто вырезанных из апельсиновой корки, дышали и вспыхивали плавниками, когда дверь бесшумно открылась, и на пороге появился Шок, – цилиндр набекрень, каштановая прядь над бровью, – и держал он на руках скрюченную фигурку.

– Принес, – со вздохом сказал фокусник.

Нора быстро подумала: ребенок... найденный... подобрал... Ее темные глаза повлажнели.

– Усыновить придется, – тихо проговорил Шок, выжидательно застывший в дверях.

Фигурка вдруг ожила, забормотала, стала стыдливо царапать по крахмальной груди фокусника. Нора взглянула на маленькие ботинки в замшевых гетрах, на котелок...

– Меня не так-то легко провести, – сказала она, усмехнувшись в нос.

Фокусник укоризненно взглянул на нее; затем опустил Фреда на плюшевый диван, накрыл его пледом.

– Акробат потрепал, – пояснил Шок, и не мог не добавить: – Гирей хватил. По самому животишке.

И Нора, сердобольная, как многие бездетные женщины, почувствовала такую особенную жалость, что чуть не расплакалась. Она принялась нянчиться с карликом, накормила, дала портвейну, душистым спиртом натерла ему лоб, виски, детские впадины за ушами.

На следующий день Фред проснулся спозаранку, побродил по незнакомой комнате, поговорил с золотыми рыбками и потом, тихо чихнув, примостился, как мальчик, на широком подоконнике.

Тающий, прелестный туман омывал серые крыши. Где-то вдали открылось чердачное окно, и стекло поймало блеск солнца. Свежо и нежно пропел автомобильный рожок.

Фред думал о вчерашнем. Странно спутывались смеющиеся голоса акробатов и прикосновения душистых холодных рук госпожи Шок. Его сначала обидели, потом приласкали, а был он очень привязчивый, очень пылкий карлик. Помечтал он о том, что когда-нибудь спасет Нору от сильного грубого человека, вроде того француза в белом трико. Некстати вспомнилась ему пятнадцатилетняя карлица, с которой он где-то выступал вместе. Карлица была востроносая, больная, злющая. Публике ее представили, как невесту Фреда, и он, вздрагивая от отвращения, должен был танцевать с нею тесный танго.

Опять одиноко пропел и пронесся рожок. Туман над нежной лондонской пустыней наливался солнцем.

К восьми часам квартира ожила: фокусник, рассеянно улыбаясь, ушел из дома, а куда – неизвестно; вкусно пахло в столовой жареным салом, лежавшим прозрачными ломтиками под горячими пузырями яичницы. Небрежно причесанная, в халате, расшитом парчовыми подсолнухами, появилась госпожа Шок.

После завтрака она угостила Фреда пахучей папиросой, кончик которой был обтянут алым лепестком и, прикрыв глаза, заставила его рассказывать, как ему живется. В таких случаях голосок Фреда становился чуть басистее, говорил он медленно, подбирая тщательно слова, и эта неожиданная степенность слога – странно сказать – шла к нему. Наклонив голову, сосредоточенный и упругий, он бочком сидел у ног Норы, которая полулежала на плюшевом диване, обнажив острые локти заломленных рук. Карлик, досказав свое, умолк, но все еще поворачивал туда-сюда ладошку, словно продолжал тихо говорить. Его черный пиджачок, наклоненное лицо, мясистый носик, желтые волосы и пробор на макушке неясно умиляли Нору. Глядя на него сквозь ресницы, она старалась представить себе, что это сидит не карлик, а ее несуществующий сын, и рассказывает, как его обижают в школе. Протянув руку, Нора легко погладила его по голове, и в то же мгновение, по непонятному сочетанию мыслей, ей померещилось другое, мстительное и любопытное.

Почувствовав у себя на волосах ее шевелившиеся пальцы, карлик застыл и вдруг начал молча и быстро облизываться. Скосив глаза в сторону, он не мог оторвать взгляд от изумрудного помпона на туфле госпожи Шок.

И внезапно каким-то нелепым и упоительным образом все пришло в движение.

5

В этот сизый, солнечный августовский день Лондон был особенно прекрасен. Легкое, праздничное небо отражалось в гладких потоках асфальта, румяным лаком пылали почтовые тумбы на углах, в гобеленовой зелени парка прокатывал блеск и шелест автомобилей, – весь город искрился, дышал млеющей теплотой, и только внизу, на платформах подземных до-

рог, было прохладно.

Каждый отдельный день в году подарен одному только человеку, самому счастливому; все остальные люди пользуются его днем, наслаждаясь солнцем или сердясь на дождь, но никогда не зная, кому день принадлежит по праву, и это их незнание приятно и смешно счастливцу. Человек не может провидеть, какой именно день достанется ему, какую мелочь будет вспоминать он вечно, – световую ли рябь на стене вдоль воды или кружащийся кленовый лист, да и часто бывает так, что узнает он день свой только среди дней прошедших, только тогда, когда давно уже сорван, и скомкан, и брошен под стол календарный листок с забытой цифрой.

Фреду Добсону, карлику в мышинных гетрах, Господь Бог подарил тот веселый августовский день, который начался нежным гудком и поворотом вспыхнувшей рамы. Дети, возвратившись с прогулки, рассказывали родителям, захлебываясь и изумляясь, что видели карлика в котелке, в полосатых штанах, с тросточкой и парой желтых перчаток в руках.

Страстно простившись с Норой, ожидавшей гостей, Картофельный Эльф вышел на широкую, гладкую улицу, облитую солнцем, и сразу понял, что весь город создан для него одного. Веселый шофер звонким ударом согнул железный флажок таксометра, мимо полилась улица, и Фред то и дело соскальзывал с кожаного сиденья и все смеялся, ворковал сам с собою.

Он вылез у входа в Гайд-Парк и, не замечая любопытных взглядов, засеменял вдоль зеленых складных стульев, вдоль бассейна, вдоль огромных кустов рододендрона, темневших в тени ильмов и лип, над муравой, яркой и ровной, как бильярдное сукно. Мимо проносились всадники, легко подсакивая, скрипя желтой кожей краг, взмахивали тонкие конские морды, звякая удилами, – и черные дорогие машины, ослепительно вспыхивая спицами, сдержанно катились по крупному кружеву лиловых теней.

Карлик шел, вдыхая теплый запах бензина, запах листвы, как бы уже гниющей от избытка зеленого сока, и вертел тросточкой, надувал губы, словно собираясь свистеть, – такое было в нем чувство свободы и легкости. Нора проводила его с такой торопливой нежностью, так взволнованно смеялась, – видно, ей страшно было, что старик отец, который всегда являлся ко второму завтраку, начнет что-нибудь подозревать, заставши у нее незнакомого господина.

В этот день его видели повсюду – и в парке, где румяная няня в крахмальной наколке, толкавшая детскую коляску, почему-то предложила его прокатить, и в залах Британского музея, и на живой лестнице, медленно выползающей из подземных глубин, полных электрических дуновений, нарядных реклам, гула, и в изысканном магазине, где продаются мужские платки, и на хребте автобуса, куда посадили его чьи-то добрые руки.

А потом он устал, ошалел от движения и блеска, стало тревожно от смеющихся глаз. И надо было осмыслить то широкое чувство свободы, гордости, счастья, которое не покидало его.

Когда, проголодавшись, Фред зашел в знакомый ресторанчик, где собирались всякого рода артисты и где его присутствие никого не удивляло, он понял, взглянув на посетителей, на старого, скучного клоуна, уже пьяного, на своего врага француза, дружелюбно ему кивнувшего, понял совершенно отчетливо, что на подмостки он не выйдет больше никогда.

В ресторане было еще по-дневному темно. Скучный клоун, смахивающий на прогоревшего банкира, и акробат, странно неуклюжий в пиджаке, молча играли в домино. Испанская танцовщица в громадной шляпе, бросившей синюю тень на глаза, сидела одна за угловым столиком, перекинув ногу на ногу. Было еще семь-восемь человек, незнакомых Фреду; он разглядывал их лица, поблекшие от грима, пока лакей подкладывал ему подушку, вскидывал скатертью, проворно расставлял прибор.

И внезапно поодаль, в сумраке ресторана, Фред узнал тонкий профиль фокусника, который тихо беседовал с пожилым, тучным господином американского пошиба. Фред не ожидал встретить фокусника, никогда не посещавшего кабаки, да и вообще позабыл об его существовании. Теперь ему стало так жаль бедного Шока, что он сперва решил все скрыть от него; но подумал, что все равно Нора обманывать не умеет и, вероятно, сегодня же объявит мужу (я полюбила Фреда Добсона, я покидаю тебя...), – а ведь это разговор неприятный, трудный, и потому надо ей облегчить дело, – он рыцарь ее, он гордится ее любовью, –

и как бы он Шока ни жалел, а огорчить его придется.

Между тем лакей принес порцию пирога с почками и каменную бутылку имбирного пива. Затем включил свет. Там и сям над пыльным бархатом вспыхнули стеклянные цветы, и карлик видел издали, как золотистым блеском засквозила каштановая прядь на лбу у фокусника, как из света в тень переходили его нежные прозрачные пальцы. Его собеседник встал, оправляя под пиджаком кожаный пояс и лъстиво улыбаясь Шоку, который проводил его до вешалки. Толстяк нахлобучил широкополую шляпу, пожал легкую руку фокусника и, все еще подтягивая штаны, вышел из ресторана. На миг засветлела полоска остывающего дня, и лампочки в ресторане стали желтее. Бухнула дверь.

– Шок! – позвал Картофельный Эльф, суча ножками под столом.

Шок подошел. На ходу задумчиво вынул из бокового кармана горящую сигару, затянулся, выпустил клуб дыма и сунул ее обратно за пазуху. Как он это делал – неизвестно.

– Шок, – сказал карлик, у которого от имбирного пива покраснел нос, – мне нужно с вами поговорить. Это очень важно.

Фокусник сел рядом, облокотился.

– Голова не болит? – спросил он равнодушно.

Фред вытер губы салфеткой; никак не знал, как начать, чтобы не сделать слишком больно другу.

– А нынче вечером я выступаю вместе с тобой в последний раз, – сказал фокусник. – Американец увозит. Выходит, кажется, недурно.

– Послушайте, Шок, – и карлик, кроша хлеб, стал с трудом подбирать нужные слова. – Вот... Будьте храбрым, Шок. Я люблю вашу жену. Сегодня, когда вы ушли, я с нею... мы с нею... она...

– Только я плохо переносу качку, – задумчиво проговорил фокусник, – а до Бостона неделя... Я плыл в Индию когда-то. Потом чувствовал себя, как вот нога, когда ее отсидишь.

Фред, багровея, тер о скатерть кулачком. Фокусник тихо засмеялся своим мыслям, затем спросил:

– А ты что-то хотел сказать мне, дружок?

Карлик глянул в его призрачные глаза, смущенно замотал головой.

– Нет, нет... Ничего... С вами невозможно говорить.

Шок протянул руку, хотел видно выщелкнуть монету из уха карлика, – но, в первый раз за многие годы мастерских чародейств, монета некстати выпала, слишком слабо захваченная мускулами ладони. Фокусник подхватил ее, встал.

– А я здесь обедать не буду, – сказал он, с любопытством разглядывая макушку карлика, – мне тут не нравится.

Фред, надутый и молчаливый, ел печеное яблоко. Фокусник незаметно ушел. В ресторане было пустынно. Томную испанскую плясунью в большой шляпе увел неловкий, пре-красно одетый молодой человек с голубыми глазами.

– Не хочет слушать, так и не надо, – подумал Фред, облегченно вздохнув и решив про себя, что в конце-то концов Нора объяснит лучше. Потом он попросил бумаги и стал писать ей письмо. Кончалось оно так: “Теперь Вы понимаете, что продолжать прежнюю жизнь я не могу. Каково было бы вам знать, что каждый вечер людское стадо хохочет над Вашим из-бранником? Завтра же я уезжаю, порвав ангажемент. Напишу Вам снова, как только найду тот мирный уголок, где, после Вашего развода, мы будем любить друг друга, моя Нора”.

Так завершился быстрый день, подаренный карлику в мышинных гетрах.

6

Лондон осторожно вечерел. Уличные звуки сливались в тихий музыкальный гул, словно кто-то, перестав играть, все еще нажимал педаль. Черные листья парковых лип выделялись на прозрачном небе, как узоры из пиковых тузов. Иногда, на повороте улицы или между двух траурных башен, появлялся, как видение, пожар заката. Шелестели в окнах шторы, спадали мягкими хлопьями.

Фокусник всегда заезжал домой пообедать и переодеться в профессиональный фрак,

чтобы потом сразу отправиться в театр. Нора в этот вечер ждала его с особенным нетерпением, трепеща от дурной радости. Радовалась она тому, что теперь и она имеет свою тайну. Самого карлика не хотелось вспоминать. Карлик был неприятный червячок.

Тонко щелкнул замок входной двери. Как это часто бывает, когда знаешь, что обманул человека, лицо фокусника показалось ей новым, почти чужим. Кивнув ей, он как-то стыдливо и грустно опустил ресницы; молча сел за стол против нее. Нора взглянула на его легкий серый пиджак, в котором он казался еще тоньше, еще неуловимее, и глаза ее заиграли теплым торжеством, злой живчик задрожал в уголку рта.

Она спросила, наслаждаясь небрежностью вопроса:

– Как поживает твой карлик? Я думала, ты приведешь его.

– Не видал сегодня, – ответил Шок, принимаясь есть. Вдруг он спохватился: вынул пузырек и, осторожно скрипнув пробкой, наклонил его над рюмкой с вином.

Нора с раздражением подумала, что сейчас будет фокус, вино станет ярко-синим или прозрачным, как вода, но цвет вина не изменился. Шок, уловив ее взгляд, туманно улыбнулся.

– Для пищеварения... Капли такие, – объяснил он. Волна задумчивости прошла по его лицу.

– Лжешь, как всегда, – сказала Нора. – У тебя отличный желудок.

Фокусник тихо засмеялся. Потом деловито кашлянул и одним залпом осушил рюмку.

– Да ешь же, – сказала Нора. – Остынет.

Злорадно подумала: “Ах, если б ты знал! Никогда не узнаешь. В этом теперь моя сила”.

Фокусник ел молча. Вдруг он поморщился, отодвинул тарелку и заговорил. Как обычно, глядел он не прямо на жену, а чуть повыше ее, и голос был певуч и мягок. Он рассказывал, как сегодня побывал у короля в Виндзоре, куда пригласили его развлекать маленьких герцогов в бархатных куртках и кружевных воротниках. Рассказывал он живописно и легко, передразнивая виденных лиц, посмеивался, чуть вбок наклоняя голову.

– Я выпустил стаю белых голубей из цилиндра, – рассказывал он.

“А у карлика были потные ручки, и ты все врешь”, – мысленно вставила Нора.

–...И, знаешь, эти самые голуби стали летать вокруг королевы. Она от них отмахивалась и улыбалась из вежливости.

Фокусник встал, пошатнулся, легко оперся двумя пальцами об край стола и проговорил, словно доканчивая свой рассказ:

– Мне нехорошо, Нора. Я выпил яду. Ты не должна была мне изменять.

Его горло надулось, и, прижав платок к губам, он вышел из комнаты.

Нора стремительно поднялась, смахнув янтарями длинного ожерелья серебряный нож с тарелки.

“Все нарочно, – злобно подумала она. – Хочет напугать, помучить меня. Нет, брат, ни к чему. Увидишь!”

Ей было досадно, что Шок так просто разгадал ее тайну, но по крайней мере у нее теперь будет повод все ему высказать, крикнуть, что ненавидит его, презирает неистово, что он не человек, а резиновый призрак, что жить с ним дольше она не в силах, что...

Фокусник сидел на постели, сгорбившись и мучительно стиснув зубы, но попытался улыбнуться, когда в спальню ворвалась Нора.

– Так и поверю, так и поверю, – захлебывалась она. – Нет уж, кончено! И я умею обманывать. Ты гадок мне, ах ты смешон мне своими неудачными фокусами!

Шок, продолжая растерянно улыбаться, старался встать с постели, шаркал подошвой по ковру. Нора замолкла, придумывая, что бы еще крикнуть оскорбительного.

– Не надо... Если что... прости меня... – с трудом выдохнул Шок.

Жила вздулась у него на лбу. Он еще больше скорчился, заклокотал, потряхивая потной прядью волос, – и платок, который он судорожно придавил ко рту, набух бурой кровью.

– Перестань дурака валять, – топнула ногой Нора.

Он выпрямился, бледный, как воск, отшвырнул платок в угол.

– Постой, Нора... Ты не понимаешь... Это – мой последний фокус... Больше не буду...

Снова исказилось его страшное, лоснящееся лицо. Он закачался, опустился на постель,

откинул голову.

Нора подошла, поглядела, сдвинув брови. Шок лежал, закрыв глаза, скрипя стиснутыми зубами. Когда она наклонилась над ним, его ресницы вздрогнули, он посмотрел туманно, как бы не узнавая жены, и вдруг узнал, и в его глазах мелькнул влажный луч нежности и страдания.

И мгновенно Нора поняла, что она любит его больше всего на свете, и ужас и жалость вихрем обдали ее. Она закружилась по комнате, для чего-то налила воды в стакан, оставила его на раковинке, опять подлетела к мужу, который привстал и, прижав край простыни к губам, вздрагивал, ухал, выпучив бессмысленные, уже отуманенные смертью глаза. Тогда она всплеснула руками, метнулась в соседнюю комнату, где был телефон, долго шатала вилку, спугала номер, позвонила сызнова, со стоном дыша и стуча кулаком по столу, и, когда, наконец, донесся голос доктора, крикнула, что муж отравился, умирает, бурно зарыдала в трубку и, криво повесив ее, кинулась обратно в спальню.

Фокусник, светлый и гладкий, в белом жилете, в черных чеканных штанах, стоял перед трюмо, и, расставив локти, осторожно завязывал галстук. Увидя в зеркало Нору, он, не оборачиваясь, рассеянно улыбнулся ей и, тихо посвистывая, продолжал тереть прозрачными пальцами черные шелковые углы.

7

Городок Друзи, в северной Англии, был такой сонный на вид, что казалось, будто кто-то позабыл его среди туманных, плавных полей, где городок и заснул навеки. Был почтамт, велосипедный магазин, две-три табачные лавки с красно-синими вывесками, старинная серая церковь, окруженная могильными плитами, на которых потягивалась тень громадного каштана, – и вдоль единственной улицы шли зеленые ограды, садики, низкие кирпичные дома, косо обтянутые плющом. Один из этих домишек был сдан некоему Ф. Добсону, которого никто в лицо не знал, кроме доктора, а доктор болтать не любил. Господин Добсон, по-видимому, никогда не выходил из дому, и его экономка, строгая, толстая женщина, служившая раньше в приюте для душевнобольных, отвечала на случайные вопросы соседей, что господин Добсон – старик-паралитик, обреченный жить в полусумраке и тишине. Его и позабыли в тот же год, как прибыл он в Друзитон: стал он чем-то незаметным, но всеми принятым на веру, как тот безымянный епископ, чей каменный образ стоял так давно в нише над церковными воротами. По-видимому, у таинственного старика был внук, – тихий, белокурый мальчик, который иногда в сумерки выходил из дому господина Добсона мелкой и робкой походкой. Случалось это, впрочем, так редко, что никто не мог сказать наверняка, тот ли это все мальчик или другой, – да сумерки были туманные, синие, смягчающие все очертания. Так дремотные, нелюбопытные жители городка проглядели во все, что мнимый внук мнимого паралитика не растет с годами, и что его льняные волосы не что иное, как прекрасно сделанный паричок. Ибо Картофельный Эльф начал лысеть в первый же год своей новой жизни, и вскоре его голова стала такой гладкой и блестящей, что строгой Анне, его экономке, подчас хотелось ладонью обхватить эту смешную круглоту. В остальном он изменился мало: только, пожалуй, чуть отяжелело брюшко, да багровые ниточки засквозили на потемневшем, пухлом носу, который он пудрил, когда наряжался мальчиком. Кроме того, и Анна и доктор знали, что те сердечные припадки, которыми карлик страдал, добром не кончатся.

Жил он мирно и незаметно в своих трех комнатах, выписывал из библиотеки книжки по три, по четыре в неделю, – все больше романы, – завел себе черную, желтоглазую кошку, так как смертельно боялся мышей, которые вечером мелко шарахались, словно перекатывали деревяшки, в углу за шкапом; много и сладко ел, – иной раз даже вскочит среди ночи и, зябко просеменив по холодному полу, маленький и жуткий в своей длинной сорочке, лезет, как мальчик, в буфет за шоколадными печеньями. И все реже вспоминал он свою любовь и первые страшные дни, проведенные им в Друзитоне.

Впрочем, в столе, среди тонких, прилежно сложенных афиш, еще хранился у него лист почтовой бумаги телесного цвета с водяным знаком в виде дракона, исписанный угловатым,

неразборчивым почерком. Вот что стояло на этом листе: “Дорогой господин Добсон. Я получила и второе Ваше письмо, в котором Вы меня зовете приехать к Вам в Д. Я боюсь, что вышло страшное недоразумение. Постарайтесь простить и забыть меня. Завтра мы с мужем уезжаем в Америку и, вероятно, вернемся нескоро. Не знаю, что еще Вам написать, мой бедный Фред”.

Тогда-то и случился с ним первый сердечный припадок. Кроткий блеск удивления с тех пор остался у него в глазах. И в продолжение многих дней он все ходил по дому, глотая слезы и помахивая у себя перед лицом дрожащей маленькой рукой.

А потом Фред стал забывать, полюбил уют, до сих пор ему неведомый, – голубые пленки пламени над углями в камине, пыльные вазочки на полукруглых полках, гравюру между окон: сенбернар с флягой у ошейника и ослабевший путник на черной скале. Редко вспоминал он свою прежнюю жизнь. Только во сне порою чудилось ему, что звездное небо наполняется зыбким трепетом трапеций, – и потом захлопывали его в черный ящик, он слышал сквозь стенки певучий, равнодушный голос Шока и не мог найти люк в полу, задышался в клейком сумраке, – а голос фокусника становился все печальнее, удалялся, таял, – и Фред просыпался со стоном на своей широкой постели в тихой и темной спальне, где чуть пахло лавандой, и долго глядел, задыхаясь и прижимая кулачок к спотыкающемуся сердцу, на бледное пятно оконной занавески.

И с годами все слабее и слабее вздыхала в нем тоска по женской любви, словно Нора мгновенно вытянула из него весь жар, так мучивший его когда-то. Были, правда, некоторые дни, некоторые весенние смутные вечера, когда карлик, стыдливо нарядившись в короткие штаны и прикрыв лысину белокурым паричком, уходил из дому в сумеречную муть и, семеня тропинкой вдоль полей, вдруг замирал и глядел, томясь, на туманную чету влюбленных, оцепеневших у изгороди, под защитой цветущей ежевики. А потом и это прошло, и людей он перестал видеть вовсе. Только изредка заходил доктор, седой, с пронзительными черными глазами, и, сидя против Фреда за шахматной доской, с любопытством и наслаждением разглядывал мягкие ручки, бульдожье лицо карлика, который, обдумывая ход, морщил выпуклый лоб.

Прошло восемь лет. Было воскресное утро. На столе накрытый колпаком в виде головы попугая ждал Фреда кувшин какао. В окно лилась солнечная зелень яблонь. Толстая Анна смахивала пыль с крышки маленькой пианолы, на которой карлик иногда играл валки вальсы; на банку апельсинового варенья садились мухи и потирали передние лапки.

Вошел Фред, слегка заспанный, в клетчатых туфлях на босу ногу, в черном халатике с желтыми бранденбургками. Сел к столу, щурясь от блеска и поглаживая рукой лысину. Анна ушла в церковь. Фред притянул к себе иллюстрированный листок воскресной газеты, долго разглядывал, то поджимая, то выпячивая губы, премированных щенят, русскую балерину, склоненную в лебедином томлении, цилиндр и мордастое лицо всех надувшего финансиста. Под столом кошка, выгнув спину, терлась об его голую лодыжку. Он допил какао, встал позевывая; ночью ему было чрезвычайно скверно, – никогда еще так сердце не мучило, и теперь ему было лень одеваться, неприятно холодели ноги. Он перебрался на кресло у окна, сложился калачиком и так сидел, ни о чем не думая, и рядом потягивалась кошка, разевая крошечную розовую пасть.

В передней затренькал звонок.

“Доктор”, – подумал Фред равнодушно и, вспомнив, что Анна в церкви, сам пошел открывать.

В дверь хлынуло солнце. На пороге стояла высокая дама, вся в черном. Фред отскочил, пробормотал что-то и, запахивая халат, кинулся в комнаты. На бегу потерял туфлю, не успел подобрать, – надо было скорее спрятаться, только бы не успели заметить, что он карлик. Прерывисто дыша, он остановился среди гостиной. Ах, надо было просто хлопнуть входную дверь!.. И кто это мог зайти к нему? Ошибка какая-нибудь.

И вдруг он отчетливо расслышал стук приближающихся шагов. Он метнулся из гостиной в спальню, хотел запереться, да не было ключа. В гостиной на ковре осталась вторая туфля.

– Это ужасно, – передохнул Фред и прислушался.

Шаги вошли в гостиную. Тогда, с легким стоном, карлик подбежал к платяному шкафу

– спрятаться бы!..

Голос, несомненно знакомый, выкликнул его имя, и открылась дверь.

– Фред, отчего вы так боитесь меня?

Карлик, босой, со вспотевшей лысиной, в черном своем халатике, замер у шкапа, все еще держась за кольцо замка. Ему вспомнились очень живо оранжевые рыбки за стеклом.

Она болезненно постарела за эти годы. Под глазами были оливковые тени; отчетливой, чем некогда, темнели волоски над верхней губой. И от черной шляпы ее, от строгих складок черного платья веяло чем-то пыльным и горестным.

– Я никогда не думал... – медленно начал Фред, глядя на нее исподлобья.

Нора взяла его за плечи, повернула к свету, жадными и печальными глазами стала разглядывать его черты. Карлик смущенно мигал, мучительно жалея, что он без парика, и дивясь волнению Норы. Он так давно перестал думать о ней, что теперь, кроме грусти и удивленья, он не чувствовал ничего. Нора закрыла глаза, все еще держа его за плечи, и потом, легонько оттолкнув карлика, отвернулась к окну.

Фред кашлянул:

– Я вас совсем потерял из виду. Скажите, как поживает Шок?

– Фокусы показывает, – ответила рассеянно Нора. – Мы только недавно вернулись в Лондон.

Она, не снимая шляпы, села в кресло у окна, продолжая со странной пристальностью смотреть на Фреда.

– Так значит Шок... – торопливо заговорил карлик, чувствуя неловкость от ее взгляда.

– Все тот же, – сказала Нора и, не сводя с него блестящих глаз, стала быстро стягивать и комкать перчатки, глянцевито черные, с белым исподом.

“Неужели она опять”, – отрывисто подумал карлик. Пронеслось в мыслях: банка с рыбками, запах одеколона, изумрудные помпоны на туфлях.

Нора встала: двумя черными комочками покатались перчатки на пол.

– Сад маленький, но в нем яблони, – сказал Фред и все продолжал недоумевать: неужели я когда-нибудь мог... Она совсем желтая. С усами. И что это она все молчит?

– Но я редко выхожу, – говорил он, слегка раскачиваясь на стуле и потирая колени.

– Фред, – сказала Нора, – знаете ли вы, почему я приехала к вам?

Она подошла к нему вплотную, Фред с виноватой усмешкой соскользнул со стула, стараясь увернуться.

Тогда она очень тихо сказала:

– У меня ведь был сын от вас...

Карлик замер, уставившись на крошечное оконце, горевшее на синей чашке. Робкая, изумленная улыбка заиграла в уголках его губ, расширилась, озарила лиловатым румянцем его щеки.

– Мой... сын...

И мгновенно он понял все, весь смысл жизни, долгой тоски своей, блика на чашке.

Он медленно поднял глаза. Нора боком сидела на стуле и плакала навзрыд. Как слеза, сверкала стеклянная головка ее шляпной булавки. Кошка, нежно урча, терлась об ее ноги.

Карлик подскочил к ней, вспомнил роман, недавно читанный.

– Да вы не бойтесь, – сказал он, – да вы не бойтесь, я не возьму его от вас. Я так счастлив.

Она взглянула на него сквозь туман слез. Хотела объяснить что-то, переглотнула, увидела, каким нежным и радостным светом весь пышет карлик, – и не объяснила ничего.

Встала, торопливо подняла с полу липко-черные комочки перчаток.

– Ну вот, теперь вы знаете... Больше ничего не нужно... Я пойду.

Внезапная мысль кольнула Фреда. К дрожи счастья примешался пронзительный стыд. Он спросил, теребя бранденбург халата:

– А он какой? Он не...

– Нет, нет, – большой, как все мальчики, – быстро сказала Нора и разрыдалась опять.

Фред опустил ресницы.

– Я бы хотел видеть его.

Радостно спохватился.

– О, я понимаю, – он не должен знать, что я вот такой. Но, может быть, вы устроите...
– Да, непременно, непременно, – торопливо, почти сухо говорила Нора, направляясь к двери. – Как-нибудь устроим... А я должна идти... Поезд... Двадцать минут ходьбы до станции.

Обернувшись в дверях, она в последний раз тяжело и жадно впиалась глазами в лицо Фреда. Солнце дрожало на его лысине; прозрачно розовели уши. Он ничего не понимал от изумления и счастья. И когда она ушла, Фред еще долго стоял посреди комнаты, боясь неосторожным движением расплескать сердце. Он старался вообразить своего сына и мог только вообразить самого себя, одетого школьником, в белокуром паричке. Он как-то перенес свой облик на сына, – сам перестал ощущать себя карликом.

Он видел, как он входит в дом, встречает сына; с острой гордостью гладит его по светлым волосам... И потом, вместе с ним и с Норой, – глупая, как она испугалась, что он отнимет мальчика! – выходит на улицу и на улице...

Фред хлопнул себя по ляжкам. Он даже забыл у Норы спросить адрес.

И тогда началось что-то сумасшедшее, несуразное. Он бросился в спальню, стал одеваться, неистово торопясь; надел все самое лучшее, крахмальную рубашку, полосатые штаны, пиджак, сшитый когда-то в Париже, – и все улыбался, и ломал ногти в щелках тугих ящиков и дважды должен был присесть, – так вздувалось и раскатывалось сердце – и снова попрыгивал по комнате, отыскивал котелок, которого так давно не носил, и, наконец, мимоходом посмотревшись в зеркало, – где мелькнул статный пожилой господин, строго и изящно одетый, – Фред сбежал по ступеням крыльца, уже полный новой ослепительной мысли: вместе с Норой поехать в Лондон, – он успеет догнать ее, – и сегодня же вечером взглянуть на сына.

Широкая, пыльная дорога вела прямо к вокзалу. Было по-воскресному пустынно, но ненароком из-за угла вышел мальчишка с крикетной лаптой в руке. Он-то первый и заметил карлика. Хлопнул себя по цветной кепке, глядя на удалявшуюся спину Фреда, на мелькание мышинных гетр.

И сразу Бог весть откуда взявшись, появились другие мальчишки и, разинув рты, стали вкрадчиво догонять карлика. Он шел все быстрее, поглядывая на золотые часы, посмеиваясь и волнуясь. От солнца слегка поташнивало. А мальчишек все прибавлялось, и редкие прохожие в изумлении останавливались, где-то звонко пролились куранты, сонный городок оживал и вдруг разразился безудержным, давно таймым смехом.

Не в силах сладить со своим нетерпением, Картофельный Эльф пустился бежать. Один из мальчишек прошмыгнул вперед, заглянул ему в лицо; другой крикнул что-то грубым, гортанным голосом. Фред, морщась от пыли, бежал, – и вдруг показалось ему, что мальчишки, толпой следовавшие за ним, – все сыновья его, веселые, румяные, стройные, – и он растерянно заулыбался, и все бежал, крикая, стараясь забыть сердце, огненным клином ломавшее ему грудь.

Велосипедист на сверкающих колесах ехал рядом с ним, прижимал рупором кулак ко рту, ободрял его, как это делается во время состязаний. На пороги выходили женщины, щурились от солнца, громко смеялись, указывая друг другу на пробежавшего карлика. Проснулись все собаки в городке; прихожане в душной церкви невольно прислушивались к лаю, к задорному улюлюканью. И все густела толпа, бежавшая вокруг карлика. Думали, что это все – великолепная шутка, цирковая реклама, съемки...

Фред начинал спотыкаться, в ушах гудело, запонка впивалась в горло, нечем было дышать. Стон смеха, крик, топот ног оглушили его. Но вот сквозь туман пота он увидел перед собой черное платье. Нора медленно шла вдоль кирпичной стены в потоках солнца. И вот – обернулась, остановилась. Карлик добежал до нее, вцепился в складки юбки...

С улыбкой счастья взглянул на нее снизу вверх, попытался сказать что-то, – и тотчас, удивленно подняв брови, сполз на панель. Кругом шумно дышала толпа. Кто-то, сообразив, что все это не шутка, нагнулся над карликом и тихо свистнул, снял шапку. Нора безучастно глядела на крохотное тело Фреда, похожее на черный комочек перчатки. Ее затолкали. Кто-то взял ее за локоть.

– Оставьте меня, – вяло проговорила Нора, – я ничего не знаю... У меня на днях умер сын...

15. УЖАС

Со мной бывало следующее: просидев за письменным столом первую часть ночи, когда ночь тяжело идет еще в гору, – и очнувшись от работы как раз в то мгновение, когда ночь дошла до вершины и вот-вот скатится, перевалит в легкий туман рассвета, – я вставал со стула, озябший, опустошенный, зажигал в спальне свет – и вдруг видел себя в зеркале. И было так: за время глубокой работы я отвык от себя, – и, как после разлуки, при встрече с очень знакомым человеком, в течение нескольких пустых, ясных, бесчувственных минут видишь его совсем по-новому, хотя знаешь, что сейчас пройдет холодок этой таинственной анестезии, и облик человека, на которого смотришь, снова оживет, потеплеет, займет свое обычное место и снова станет таким знакомым, что уж никаким усилием воли не вернешь мимолетного чувства чуждости, – вот точно так я глядел на свое отражение в зеркале и не узнавал себя. И чем пристальнее я рассматривал свое лицо, – чужие, немигающие глаза, блеск волосков на скуле, тень вдоль носа, – чем настойчивее я говорил себе: вот это я, имярек, – тем непонятнее мне становилось, почему именно это – я, и тем труднее мне было отождествить с каким-то непонятным “я” лицо, отраженное в зеркале. Когда я рассказывал об этом, мне справедливо замечали, что так можно дойти до чертиков. Действительно, раза два я так долго всматривался поздно ночью в свое отражение, что мне становилось жутко и я поспешно тушил свет. А наутро пока брился, мне уже в голову не приходило удивляться своему отражению.

Бывало со мной и другое: ночью, лежа в постели, я вдруг вспоминал, что смертен. Тогда в моей душе происходило то же, что происходит в огромном театре, когда внезапно потухает свет, и в налетевшей тьме кто-то резко вскрикивает, и затем вскрикивает несколько голосов сразу, – слепая буря, темный панический шум растет, – и вдруг свет вспыхивает снова, и беспечно продолжается представление. Так, бывало, душа моя задохнется на миг, лежу навзничь, широко открыв глаза, и стараюсь изо всех сил побороть страх, осмыслить смерть, понять ее по-житейски, без помощи религий и философий. И потом говоришь себе, что смерть еще далека, что успеешь ее продумать, – а сам знаешь, что все равно никогда не продумаешь, и опять в темноте, на галерке сознания, где мечутся живые, теплые мысли о милых земных мелочах, проносится крик – и внезапно стихает, когда наконец, повернувшись на бок, начинаешь думать о другом.

Полагаю, что все это – и недоумение перед ночным зеркалом, и внезапное паническое предвкушение смерти, – ощущения, знакомые многим, и если я так останавливаюсь на них, то потому только, что в этих ощущениях есть частица того высшего ужаса, который мне однажды довелось испытать. Высший ужас... особенный ужас... я ищу точного определения, но на складе готовых слов нет ничего подходящего. Напрасно примеряю слова, ни одно из них мне не в пору.

Жил я счастливо. Была у меня подруга. Помню, как меня измучила первая наша разлука, – я по делу уезжал за границу, – и как потом она встречала меня на вокзале – стояла на перроне, как раз в клетке желтого света, в пыльном снопе солнца, пробившего стеклянный свод, и медленно поворачивала лицо по мере того, как проползали окна вагонов. С нею мне было всегда легко и покойно. Только однажды... Да, вот тут я опять чувствую, какое неуклюжее орудие – слово. А хочется мне объяснить... Это такой пустяк, это так мимолетно: вот мы с нею одни в ее комнате, я пишу, она штопает на ложке шелковый чулок, низко наклонив голову, и розовеет ухо, наполовину прикрытое светлой прядью, и трогательно блестит мелкий жемчуг вокруг шеи, и нежная щека кажется впалой, оттого что она так старательно пучит губы. И вдруг, ни с того ни с сего, мне делается страшно от ее присутствия. Это куда страшнее того, что я не сразу почувствовал ее на вокзале. Мне страшно, что со мной в комнате другой человек, мне страшно самое понятие: другой человек. Я понимаю, отчего сумасшедшие не узнают своих близких... Но она поднимает голову, быстро, всеми чертами лица, улыбается мне, – и вот от моего странного страха уже нет и следа. Повторяю, это случилось всего только раз, это тогда мне показалось глупостью нервов – я забыл, что в одино-

кую ночь, перед зеркалом, мне приходилось испытывать нечто очень похожее.

Прожили мы вместе около трех лет. Я знаю, что многие не могли понять нашу связь. Недоумевали, чем могла привлечь и удержать меня эта простенькая женщина, но, Боже мой, как я любил ее неприметную миловидность, веселость, ласковость, птичье трепыхание ее души... Ведь дело в том, что как раз ее тихая простота меня охраняла: все в мире было ей по-житейски ясно, и мне даже иногда казалось, что она совершенно точно знает, что ждет нас после смерти, – и мы о смерти никогда не говорили. В конце третьего года я опять принужден был уехать на довольно долгий срок. Накануне моего отъезда мы почему-то пошли в оперу. Когда, сидя на малиновом диванчике в темноватой, таинственной аванложе, она снимала огромные, серые ботинки, вытаскивала из них тонкие, шелковые ноги, я подумал о тех очень легких бабочках, которые вылупляются из громоздких, мохнатых коконов. И было весело, когда мы с ней нагибались над розовой бездной залы и ждали, чтоб поднялся плотный, выцветший занавес в бледных, золотистых изображениях различных оперных сцен. И голым локтем она чуть не скинула вниз с барьера свой маленький перламутровый бинокль.

И вот, когда уже все расселись и оркестр, вобрав воздух, приготовился грянуть, – вдруг в огромном розовом театре потухли сразу все лампочки, – и налетела такая густая тьма, что мне показалось – я ослеп. И в этой тьме все сразу задвигалось, зашумело, и панический трепет перешел в женские восклицания, и оттого что отдельные мужские голоса очень громко требовали спокойствия, – крики становились взволнованнее. Я рассмеялся, начал ей что-то говорить, – и почувствовал, что она вцепилась мне в руку, молча мнет мне манжету. И, когда свет снова наполнил театр, я увидел, что она сидит вся бледная, стиснув зубы. Я помог ей выйти из ложи, – она качала головой, с виноватой улыбкой порицая свой ребяческий испуг, – и потом расплакалась, попросилась домой. И только в карете она успокоилась, и, прижимая комочком платок к сияющим глазам, стала мне объяснять, как ей грустно, что завтра я уезжаю, и как было бы нехорошо этот последний вечер провести на людях, в опере.

А через двенадцать часов я уже сидел в вагоне, глядел в окно на туманное, зимнее небо, на воспаленный глазок солнца, не отстающий от поезда, на белые поля, которые без конца раскрывались, как исполинский лебяжий веер. В большом нерусском городе, куда я через сутки приехал, и довелось мне высший ужас испытать.

Началось с того, что я дурно спал три ночи сряду, а четвертую не спал вовсе. За последние годы я отвык от одиночества, и теперь эти одинокие ночи были для меня острым, безвыходным страданием. В первую ночь я видел ее во сне: было много солнца, и она сидела на постели в одной кружевной сорочке и до упаду хохотала, не могла остановиться. И вспомнил я этот сон совсем случайно, проходя мимо бельевого магазина, – и когда вспомнил, то почувствовал, как все то, что было во сне весело – ее кружева, закинутое лицо, смех, – теперь, наяву, страшно, – и никак не мог себе объяснить, почему мне так неприятен, так отвратителен этот кружевной, хохочущий сон. Я много работал и много курил, и все у меня было чувство, что мне нужно, как говорится, держать себя в руках. Ночью, раздеваясь, я нарочно посвистывал и напевал, но вдруг, как трусливый ребенок, вздрагивал от легкого шума за спиной, от шума пиджака, соскользнувшего со стула.

На пятый день, рано утром после бессонной ночи, я вышел пройтись. То, что буду рассказывать дальше, мне хотелось бы напечатать курсивом, – даже нет, не курсивом, а каким-то новым, невиданным шрифтом. Оттого, что я ночью не спал, во мне была какая-то необыкновенно восприимчивая пустота. Мне казалось, что голова у меня стеклянная, и легкая ломота в ногах тоже казалась стеклянной. И сразу, как только я вышел на улицу... Да, вот теперь я нашел слова. Я спешу их записать, пока они не потускнели. Когда я вышел на улицу, я внезапно увидел мир таким, каков он есть на самом деле. Ведь мы утешаем себя, что мир не может без нас существовать, что он существует, поскольку мы существуем, поскольку мы можем себе представить его. Смерть, бесконечность, планеты – все это страшно именно потому, что это вне нашего представления. И вот, в тот страшный день, когда, опустошенный бессонницей, я вышел на улицу, в случайном городе, и увидел дома, деревья, автомобили, людей, – душа моя внезапно отказалась воспринимать их как нечто привычное, человеческое. Моя связь с миром порвалась, я был сам по себе, и мир был сам по себе, – и в этом мире смысла не было. Я увидел его таким, каков он есть на самом деле: я глядел на

дома, и они утратили для меня свой привычный смысл; все то, о чем мы можем думать, глядя на дом... архитектура... такой-то стиль... внутри комнаты такие-то... некрасивый дом... удобный дом... – все это скользнуло прочь, как сон, и остался только бессмысленный облик, – как получается бессмысленный звук, если долго повторять, вникая в него, одно и то же обыкновеннейшее слово. И с деревьями было то же самое, и то же самое было с людьми. Я понял, как страшно человеческое лицо. Все – анатомия, разность полов, понятие ног, рук, одежды, – полетело к черту, и передо мной было нечто – даже не существо, ибо существо тоже человеческое понятие, – а именно нечто, движущееся мимо. Напрасно я старался пересилить ужас, напрасно вспоминал, как однажды, в детстве, я проснулся и, прижав затылок к низкой подушке, поднял глаза и увидел спросонья, что над решеткой изголовья наклоняется ко мне непонятное лицо, безносое, с черными, гусарскими усиками под самыми глазами, с зубами на лбу – и, вскрикнув, привстал, и мгновенно черные усики оказались бровями, а все лицо – лицом моей матери, которое я сперва увидел в перевернутом, непривычном виде. И теперь я тоже старался привстать, дабы зримое приняло вновь свое обычное положение, и это не удавалось мне. Напротив, чем пристальнее я вглядывался в людей, тем бессмысленнее становился их облик. Охваченный ужасом, я искал какой-нибудь точки опоры, исходной мысли, чтобы, начав с нее, построить снова простой, естественный, привычный мир, который мы знаем. Я, кажется, сидел на скамейке в каком-то парке. Действий моих в точности не помню. Как человеку, с которым случился на улице сердечный припадок, нет дела до прохожих, до солнца, до красоты старинного собора, – а есть в нем только всепоглощающее желание дышать, – так и у меня было только одно желание: не сойти с ума. Думаю, что никто никогда так не видел мира, как я видел его в те минуты. Страшная нагота, страшная бессмыслица. Рядом какая-то собака обнюхивала снег. Я мучительно старался понять, что такое “собака”, – и оттого, что я так пристально на нее смотрел, она доверчиво подползла ко мне, – и стало мне до того тошно, что я встал со скамьи и пошел прочь. И тогда ужас достиг высшей точки. Я уже не боролся. Я уже был не человек, а голое зрение, бесцельный взгляд, движущийся в бессмысленном мире. Вид человеческого лица возбуждал во мне желание кричать.

Каким-то образом я оказался опять у входа моей гостиницы. И тут ко мне подошел кто-то и назвал меня по имени. Он тыкал мне в руку свернутый лоскуток. Бумажку эту я машинально развернул. И сразу весь мой ужас прошел, я мгновенно о нем забыл, все стало опять обыкновенным и незаметным: гостиница, переменные отблески в стеклах вращающихся дверей, знакомое лицо швейцара, подавшего мне телеграмму. Я стоял посредине широкой прихожей. Прошел господин, с трубкой, в клетчатом картузе, толкнул меня и важно извинился. Я чувствовал удивление и большую, невыносимую, но совсем естественную, совсем человеческую боль. В телеграмме сообщалось, что она находится при смерти.

И пока я ехал к ней, и пока сидел у ее кровати, мне и в голову не приходило рассуждать о том, что такое жизнь, что такое смерть, ужасаться жизни и смерти. Женщина, которую я любил больше всего на свете, умирала. Я видел и чувствовал только это.

Она меня не узнала, когда я толкнулся коленом о край постели, на которой она лежала, под огромными одеялами, на огромных подушках, – сама маленькая, с волосами, откинутыми со лба, отчего стал заметен по окату виска тонкий шрам, который она всегда скрывала под низкой волной прически. Она меня не узнала, но я чувствовал по улыбке, раза два легко приподнявшей уголок ее губ, что она в своем тихом бреду, в предсмертном воображении видит меня, так что перед нею стояли двое, – я сам, которого она не видела, и двойник мой, который был невидим мне. И потом я остался один, – мой двойник умер вместе с нею.

Ее смерть спасла меня от безумия. Простое человеческое горе так наполнило мою жизнь, что для других чувств места больше не было. Но время идет, ее образ становится в моей душе все совершеннее и все безжизненнее, – и мелочи прошлого, живые, маленькие воспоминания незаметно для меня потухают, как потухают, один за другим, иногда по два, по три сразу, то здесь, то там, огоньки в окнах засыпающего дома. И я знаю, что обречен, что пережитый однажды ужас, беспомощная боязнь существования когда-нибудь снова охватит меня, и тогда мне спасения не будет.